

## OBSAH / TABLE OF CONTENTS

### ČLÁNKY / ARTICLES

- 5 *Борис Ю. Норман: Сапоги Италия, ванна Новокузнецк, крыша черепица... О дискурсивной обусловленности грамматики*  
*Sapogi Italija, vanna Novokuznetsk, krysha cherepitsa...*  
About the Discourse Dependence of Grammar
- 18 *Slavomír Ondrejovič: Henrich Bartek – štvrtstoročie po*  
Henrich Bartek – after a Quarter of a Century
- 31 *Mária Kiššová: Ruská literatúra a kultúra v časopise The Little Review*  
Russian Literature and Culture in the Journal *The Little Review*
- 45 *Евгений В. Евпак: Лингвистическая концепция персонализма*  
(на примере философских текстов Н. О. Лосского  
и Л. П. Карсавина)  
The Linguistic Conception of the Personology  
(on the Example of Philosophical Texts by N. O. Lossky  
and L. P. Karsavin)
- 56 *Marcela Antošová: Dominik Tatarka a francúzsky existencializmus*  
Dominik Tatarka and French Existentialism

### ROZHĽADY / SURVEYS

- 73 *Zdeňka Matyušová: Skutky svatých apostoľů*  
Acts of Saint Apostles

### RECENZIE / BOOK REVIEWS

- 79 *Vychodilová, Z.: Výrazová úspornost v syntaxi současné ruštiny*  
(*Jana Sokolová*)
- 82 *Пра лексіку беларускай паэзіі (Алена Калечыц, Наталля Коруна)*
- 86 *Slivková, I.: Bieloruská poézia na prelome storočí (Mária Kiššová)*

### 89 MENNÝ REGISTER / INDEX OF NAMES

### 92 AUTORI ČÍSLA / AUTHORS



**САПОГИ ИТАЛИЯ, ВАННА НОВОКУЗНЕЦК,  
КРЫША ЧЕРЕПИЦА...  
О ДИСКУРСИВНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ГРАММАТИКИ**

Борис Норман

**SAPOGI ITALIJA, VANNA NOVOKUZNETSK, KRYSHA CHEREPITSA...  
ABOUT THE DISCOURSE DEPENDENCE OF GRAMMAR**

**Abstract:** The article deals with Russian sentences with broken grammar rules such as *Сапоги Италия* (*Boots Italy*). However, such constructions are natural to certain styles and genres of speech (colloquial speech, technical and commercial information etc.). Other deviations from grammatical norms are observed in other genres. It is concluded that grammar rules function in a definite discourse context.

**Key words:** Russian grammar, syntactic rules, nominative patterns, discourse (genre) conditions.

Вынесенные в заголовок примеры вызывают у читателя естественное недоумение: „Можно ли так сказать по-русски?“. Ответим сразу, что так говорят. И пишут. Вот несколько примеров из реальных текстов:

*Ванна чугунная Новокузнецк; Откосы гипсокартон; Гипсокартон, сухие смеси доставка; Котёл дрова; Колодцы чистка. Крыши покраска* (все примеры – из разных номеров рекламного русскоязычного еженедельника *Ва-Банкъ*, г. Минск).

Пример из другого белорусского периодического издания, уже не столь специализированного:

*Огрызнувшись, продавец сообщила корреспонденту, что о постановлении № 141 вычитала в газете: „Там написано, что овощей и фруктов это не касается! Так что покупайте вот **виноградик узбек**, 6800, дешёвенький, а какой красивый!“* (Белгазета, 02. 11. 2009).

Конечно, следует оговориться, что все эти примеры существуют в некотором контексте, они предполагают определённые жанровые условия. Естественным для них речевым „фоном“ являются рекламные объявления, товарные (торговые) этикетки, вообще коммерческая номенклатура и лежащая в её основе техническая документация и т. п.

Но конструкции из двух (или более) „прилепленных“ друг к другу существительных попадают и в художественные тексты, ср.:

Публика ходила в „Скоморох“ самая разнообразная: чуйки, кафтаны, тулупы, ротонды, **платья декольте шёлковые**, шерстяные, ситцевые, сарафаны... (В. Гиляровский, *Люди театра*).

Порции **рыба хек серебряный** и **каша перловая шрапнель** стали гомеопатическими (М. Веллер, *Легенды Арбата*).

Словосочетания, о которых идёт речь, примечательны прежде всего в том отношении, что оба существительных, их образующих, стоят в исходной форме именительного падежа. Специально подчеркнём, что не только второе, но и первое слово – опорное, главное в смысловом отношении – „застывает“ в номинативе. Не говорят, например, „Она пришла в сапогах Италия“ или „Я купил ванну Новокузнецк“.

Далее, двучленная номинативная структура оказывается коммуникативно самодостаточной. Очевидно, она плохо согласуется со стандартными синтаксическими моделями (предикатно-актантными структурами) и явно тяготеет к тому, что в традиционной грамматике называется назывными (номинативными) предложениями. Второе слово по отношению к первому играет роль несогласованного определения (впрочем, в падеже-то, как только что было сказано, они как раз согласуются).

Иногда говорят, что подобные примеры служат проявлением так называемого **аграмматизма**, т. е. невыраженности грамматических связей между членами высказывания (словами). Действительно, другое дело – если бы было сказано *сапоги из Италии* (или: *итальянского производства*), *ванна производства новокузнецкого завода*, *крыша, выложенная черепицей*, и т. п. Тогда отношения между словами были бы формально закреплены падежными окончаниями, служебными словами (предлогами или союзами), да ещё подтверждены словообразовательными элементами (префиксами, суффиксами)... Спрашивается: почему же носитель языка, воспитанный на правилах школьной грамматики, решаетея всё же эти правила нарушить?

Ответ будет состоять из нескольких частей.

Во-первых, речь ведь не идёт об элементарной неграмотности, когда, скажем, иностранец не умеет склонять русские существительные. И даже не о тех случайных языковых ошибках, когда „действие некоторых механизмов и законов речи может накладываться на действие языковых норм“ (Русецкий, 2011, с. 61). Перед нами не просто „ошибки“, а особые речевые явления, намеренно созданные носителем языка.

Во-вторых, считать приведённые выше конструкции аграмматичными не позволяет хотя бы определённый порядок слов. Ведь не говорят „Италия сапоги“, „Новокузнецк ванна“, „черепица крыша“. Значит, эта

установившаяся последовательность не случайна, за ней скрывается определённый грамматический смысл! Иными словами, между первым и вторым элементом конструкции *сапоги Италия* существуют чёткие – определительные – отношения, и осознать их нам помогает именно порядок данных элементов. Повторим здесь одну вообще-то не очень новую мысль в формулировке А. Вежбицкой: „Различия в грамматической форме не условны, они сигнализируют различия в мышлении“ (Wierzbicka, 1988, с. 14).

В-третьих, если бы аграмматизм в такой ситуации грозил коммуникативными неудачами, непониманием, конфликтами, то человек постарался бы его избегать. В конце концов, не так уж много времени и места выигрывает носитель языка, когда вместо *крыша, крытая черепицей* говорит или пишет *крыша черепица*. Разве эта бинарная конструкция не понятна сама по себе? Можно ли её понять каким-то иным образом? Например, как ‘черепица, предназначенная для крыши’? Вряд ли: черепица ведь для других целей просто не используется. Или как ещё можно истолковать выражение *сапоги Италия*? Как ‘сапоги, предназначенные для Италии’? Крайне маловероятно. Как ‘сапоги, привезённые из Италии’ (но при этом, допустим, китайского производства)? Тоже сомнительно... Скорее всего, практически на 100%, это всё же ‘сапоги итальянского производства’! Вспомним очень уместные в данной ситуации слова Э. Сепира: „Поставим рядом два выбранных наудачу простых английских слова. <...> Оказывается психологически невозможным услышать или увидеть эти два слова вместе, не постаравшись хоть сколько-нибудь связным образом их осмыслить“ (Сепир, 1993, с. 72). И далее американский лингвист перебирал возможности смысловой интерпретации конкретного сочетания слов...

В своё время И. Г. Милославский обращал внимание на то, что при синтезе значения слова по значению составляющих его частей необходим учёт экстралингвистических факторов – т. е., попросту говоря, знаний об объективной действительности (Милославский, 1980, с. 107 – 117). Очевидно, и смысл синтаксических конструкций проецируется на „отстоявшийся опыт“ человека, на систему окружающих его реалий. Так называемый „здоровый смысл“ составляет важную часть неписанных соглашений между говорящими на данном языке.

К сказанному следует добавить, что интересующие нас примеры семантически не так уж просты. Ведь *сапоги Италия* – это не то же самое, что *сапоги из Италии* и даже не совсем то же, что *сапоги, произведённые в Италии*. Определяющее (второе по счёту) существительное

в двучленной конструкции становится своего рода символом торгового изделия. Это – его дифференциальный признак, который затмевает собой все остальные признаки, существенные, может быть, в иных ситуациях. Италия по отношению к обуви, Греция по отношению к шубе или Узбек(истан) по отношению к винограду – это некоторый бренд!

Так что перед нами не „agramматичность“ конструкций. Скорее уж уместно было бы говорить об „аморфологичности“, но этот окказиональный термин тоже требует развёрнутого комментария.

Исследователи ещё полвека назад отмечали расширение сферы употребления номинативных предложений в русском языке. Эти факты речи „нельзя отнести к числу стилистически нейтральных конструкций, они характерны для определённых стилей литературного языка“ (*Морфология и синтаксис*, 1968, с. 324). Особенно естественны номинативные конструкции в таких жанрах, как заголовки, ремарки в пьесах и сценариях, оглавления, объявления, описи имущества и т. п. Но, кроме того, „это ‚техническое‘ средство, применяющееся для того, чтобы кратко, без лишних деталей, зафиксировать определённые мысли, наблюдения или просто предметы, факты. Номинативы типичны, например, для записных книжек, дневников, писем...“ (там же).

Одновременно с расширением сферы употребления номинативных предложений в русском языке происходит активизация формы именительного падежа. И, что характерно, „экспансия именительного падежа в сфере современной устно-разговорной речи осуществляется на широком фоне общей тенденции к ослаблению спаянности компонентов различных цельнооформленных синтаксических единиц“ (*Морфология и синтаксис*, 1968, с. 346). Это приводит в том числе к частичному вытеснению управления примыканием, к „рассыпчатости“ структуры фразы, к появлению конструкций, в которых существительное в номинативе выступает в функции несогласованного определения, типа *соломка коробка, крабы баночка одна, газ последний баллончик, сырая резина остатки, женщина красный платок, метро Мир* и т. п. (там же, с. 356 – 358). Влияние разговорной речи на современный коммуникативный узус не подлежит сомнению; более того, известно, что со временем многие „чисто разговорные“ явления кодифицируются, принимаются литературной нормой.

В письменной речи в последние десятилетия наблюдается переход к так называемому „актуализирующему“ синтаксису, отражающему, с одной стороны, явления разговорной речи: её неполноту, обрывистость, динамизм и сжатость, а с другой стороны – идеологию модернизма и пост-модернизма в общественном сознании, с её алогизмом, диало-

гизмом, ассоциативными связями, обращением к со-творчеству читателя. Отсюда вытекает повышенная употребительность сегментации, парцелляции, вставных конструкций и т. п. (см., в частности: *Динамика структуры*, 1982, с. 85 – 121).

Каковы же глубинные причины возникновения в русской речи столь своеобразных конструкций, как *сапоги Италия* или *котёл дрова*? Самое простое, само собой напрашивающееся объяснение – это стремление говорящего (в частном случае – пишущего) к **лаконизму**, к экономии времени и печатной площади. Особенно это касается той ситуации, когда время и пространство оборачивается деньгами. Вспомним уже отживший сегодня своё жанр телеграмм: нормальным для телеграфного текста было опущение предлогов, союзов и частиц – и, как правило, это не приводило ни к каким коммуникативным недоразумениям!

Сегодня лапидарность оправдана в печатных объявлениях, торговой рекламе и т. п., где оплачивается каждая строка или даже буква текста. Дискурс оперативной информации, торговли и логистики, технической документации позволяет в значительной мере редуцировать систему грамматических правил. Это значит – грамматика не просто концептуализирует общественные знания о мире, но представляет их в экономном для носителя языка виде. Можно считать интересующие нас конструкции своего рода маркерами определённой сферы общественных отношений и, вместе с тем, определённого стиля жизни.

Разумеется, важнейшую роль в оформлении грамматических связей между словами играет коммуникативный фон высказывания и, в частности, складывающееся в сознании говорящего представление о расстановке информационных ценностей (так называемое актуальное членение высказывания). Вот как пишет специалист по стилистике русского языка: „Результатом активности актуального членения в сочетаниях с эллиптическими опущениями является значительное количество самостоятельных синтаксических конструкций, лежащих за пределами нормативного общеязыкового синтаксиса, но в конечном счёте восходящих к нему: *Руками – нельзя. На Урал – интересно. В три – поздно. Опоздали – ну и ладно*» (Васильева, 1976, с. 223)

Такие отношения, которые возникают в речевой синтагматической цепи у контактно расположенных словоформ, В. П. Чесноков называет **синтаксическим соприкасанием**. „...Синтаксические отношения между структурными компонентами предложения и словосочетания, в сущности, тождественны отношениям между структурно самостоятельными компонентами мысли. <...> В силу того, что одни структурно самостоятельные компоненты мысли могут соотноситься с другими

компонентами не только непосредственно, но и опосредованно, системы отношений между компонентами мысли и синтаксической структуры могут различаться также непосредственным и опосредствованным характером смысловых отношений между их компонентами" (Чесноков, 1983, с. 47 – 48). Проще говоря, речь идёт о случаях типа **Я вас любил**, в которых две именные формы тяготеют друг к другу. Но следует добавить, что синтаксическое соприкосновение наиболее очевидно обнаруживается в тех случаях, когда бинарная структура исчерпывает собой предложение. И вот тут мы выходим за пределы наших примеров типа *сапоги Италия* или *крыша черепица*.

Обратим внимание на то, что в современной русской речи широко распространены двучленные высказывания типа *Из огня да в полымя; С бору по сосенке; Из грязи в князи; С корабля на бал; От нашего стола – вашему столу; Руки в боки; Ноги в руки; Руки вверх; Ни в зуб ногой; Первый раз в первый класс; С песней в дорогу; С песней по жизни; Товары в дорогу; По секрету всему свету; Знания в массы; Взрослым о детях; В грудь навyleт; Я нечаянно; Шире круг; Коротко о важном; Привет родителям; Судью на мыло; Подарок в студию* и т. п. (см. Норман, 2012). Этот материал весьма многообразен. Тем не менее, с нашей точки зрения, он составляет определенное единство.

По-видимому, следует согласиться с Н. С. Валгиной в том, что неполнота подобных синтаксических биномов „является структурной нормой, и сопоставление их с полными конструкциями – это всего лишь условный приём для выявления их конструктивной специфики. Это вполне типизированные построения, не нуждающиеся в восстановлении каких-либо членов предложения..." (Валгина, 1973, с. 201). А. Г. А. Золотова характеризует построения типа *На яхте вокруг света; У Енисея без воды; Четыре часа за бортом* и т. п. как агглютинативные „заголовочные комплексы“, состоящие из свободных синтаксических форм (Золотова, 1973, с. 71). Это значит, что предпосылкой для появления таких двучленных выражений являются опять-таки определённые **жанрово-дискурсивные условия**. Наилучшая среда для данного вида конструкций – это обособленные и самодостаточные реплики: афоризмы, лозунги, поговорки и т. п. Источниками биномов могут также служить названия газетных рубрик (*Взрослым о детях; Коротко о важном; На диване с «Комсомолкой»*), литературных произведений, кинофильмов, телепередач (*В грудь навyleт; Ты – мне, я – тебе; Техника – молодёжи, Погода на завтра*) и т. п.

Мы получаем таким образом очередное подтверждение того, что дискурсивная обусловленность синтаксической единицы (её готовность



к функционированию в определённых коммуникативных условиях) способна влиять на степень и характер её грамматической организации (иначе говоря, на её структурированность). Фактически именно дискурс определяет, может ли данная последовательность словоформ выполнять роль коммуникативной единицы (в своё время эту мысль высказывал В. А. Звегинцев) и каковы её возможные границы. Но законы статистики естественно ограничивают сферу коммуникативного применения словосочетаний: чем меньше здесь количество членов, тем легче они коллоквиализуются как целое. В этом смысле число 2 лучше, чем 3 или 4; и именно этим бинамы и привлекают наше внимание.

Напомним, что психолингвист Л. В. Сахарный предлагал между двумя крайностями – развёрнутыми текстами и „нерасчленёнными знаками невербальной коммуникации“ – выделять ещё тексты небольших размеров и простой структуры. К данной категории „текстов-примитивов“ он относил, в частности: высказывания в речи детей 1 – 2 лет, фразы в устах иностранцев, плохо знающих язык, примеры „телеграфного стиля“ у больных с афазией, наборы ключевых слов в информационно-поисковых системах, а также вывески, команды, планы, наброски, пары „стимул – реакция“ в ассоциативных экспериментах и т. п. (Сахарный, 1986, с. 97). К понятию синтаксических примитивов прибегает и Ю. Н. Караулов при интерпретации результатов ассоциативного эксперимента. Для него синтаксический примитив – это соединение двух и более полнозначных слов, выступающее как целостно воспроизводимая единица ассоциативно-вербальной сети. За ним могут стоять „скрытые и явные дефиниции, объяснительные, результирующие и некоторые другие формулы“ (Караулов, 1993, с. 191).

Получается, что вынесенные в заголовок статьи примеры типа *сапоги Италия* следует рассматривать на широком прецедентном фоне. Носитель языка то и дело сталкивается с какими-то „вариантами“ грамматики – и в соответствующих условиях он воспринимает это как должное. Действительно, такие жанры, как кулинарный рецепт, брачное объявление, гороскоп, кроссворд, заголовок литературного произведения, техническое описание, завещание, свод законов, расписание движения поездов и т. д., характеризуются своим набором грамматических характеристик. Смешно было бы, если бы лингвист попытался изучить систему функционирования лиц русского глагола, скажем, по Уголовно-процессуальному кодексу: он не встретил бы там ни форм 1-го, ни форм 2-го лица! То, что допустимо или даже приветствуется в одном стиле и жанре, может расцениваться как грубая ошибка („отклонение от нормы“) в других речевых условиях.

У нас, например, не вызывают никакого удивления или раздражения названия поэтических произведений, помещённые в оглавлениях сборников. Дело в том, что стихотворения часто называются по первой строке, не составляющей никакого синтаксического единства. В частности, среди стихотворений Александра Блока есть такие, как: *Есть в дикой роще, у оврага...*; *Пока спокойною стою...*; *Порою вновь к твоим ногам...*; *В сумерки девушку стройную...*; *Мне гадалка с морщинистым ликом...* С точки зрения „общепринятых“ правил грамматики это явные нарушения – незаконченные предложения! Однако мы знаем: в данной дискурсивной сфере, в данном жанре это вполне допустимо.

У заголовков вообще особая грамматика. В частности, А. С. Попов, изучая структуру газетных материалов, пришёл к выводу, что „информативная функция заглавий, т. е. выражение заглавием содержания статьи, не превращает речевые отрезки, используемые для озаглавливания, в предложения“ (Попов, 1966, с. 97). Здесь, на газетной полосе, широко используются конструкции, не обладающие ни цельностью, ни самостоятельной значимостью – такие, как „осколочные“ предложно-падежные и наречные формы (*Перед стартом*; *Достойно Шекспира: Красиво, удобно*), деепричастные обороты, придаточные предложения, безадресные побудительные конструкции (*Полностью и в срок! Планировать будущее науки! Маяку – не погаснуть!* и т. п.). Популярны тут и уже знакомые нам биномы вроде *Весна на полях* или *Залпы над океаном*. В общем, заключает автор, „синтаксис заглавий имеет своеобразные черты, отсутствующие в общем синтаксисе литературного языка“ (там же, с. 100).

Не стоит удивляться и своеобразию разговорной речи – её грамматике посвящены многие десятки специальных работ (на русском материале – прежде всего Н. Ю. Шведовой, Е. А. Земской, О. Б. Сиротининой, М. В. Китайгородской, Н. Н. Розановой и др.) Достаточно прочитать следующий отрывок из записей устной разговорной речи (рассказ бывалой путешественницы), чтобы убедиться в том, что синтаксическое строение спонтанных высказываний далеко от канонических образцов.

*Ну что на Капри? На Капри мы поехали с моей... двоюродной сестрой/ с тётей/ мы поехали мм... Это было в двенадцатом году/ видите когда это/ давно// Мы проехали/ и в Риме были/ и в... в этом... м... в Венеции были/ Венеция нам очень... Там ко... конечно очень красиво всё/ но жить там невозможно для... // там такая сы-ы-рость/ и там всё вода/ кругом это// Гостиница/ подъезжаешь к ней на гондоле/ и видно знаете это...// мм где вода-то бывает/ что ниже все//...* (Русская разговорная речь, 1978, с. 107).

Шарль Балли писал ещё в начале XX века: „Было бы весьма странно, если бы разговорный язык не обладал особым синтаксисом, действительно, с этой точки зрения он представляет целый ряд особенностей, которые столь же интересны, сколь мало изучены. Разговорный синтаксис не изучают главным образом потому, что не считают его достойным внимания; от него старательно отгораживаются под тем предлогом, что в нём всё „неправильно...“ (Балли, 1961, с. 352).

Точно так же своеобразна грамматика воинских донесений, научных библиографий, чатов в Интернете и т. д. Фактически это означает, что грамматика в своих основаниях обусловливается прагматикой; эти две составляющие смысла „перетекают“ друг в друга. Выбор того или иного набора грамматических правил зависит от дискурсивных условий, а именно: кто, с кем, на какую тему и в рамках каких принятых конвенций строит свою речь.

Понимание того, что грамматические явления неравномерно распределяются по сферам речевой деятельности, частично сформировалось в ходе исследований по грамматической статистике, ведущихся с середины XX века (Йоссельсон, 1966; Головин, 1971; Těšitelová, 1980; Kempgen, 1995 и др.). Частота употребления отдельных грамматических категорий оказывается признаком, хорошо различающим разные стили. В частности, по некоторым данным, для глагола в „художественном стиле“ характерна вероятность появления 0,18, в то время как в научном – только 0,009. Среди падежных форм существительных в художественных текстах доминирует именительный падеж (0,28), за ним с большим отрывом следует родительный (0,18). В публицистических текстах эта последовательность меняется: самый частый падеж здесь – родительный (0,36), именительный же – на втором месте (0,17). „Уже этими скудными данными подрывается привычное представление о стилевом нейтралитете морфологии, в особенности на её самом абстрактном уровне распределения слов по частям речи“ (Головин, 1971, с. 124).

В последнее время становится популярным изучение грамматических „профилей“ слов. Начались эти исследования с работ С. Гриса и Д. Дивьяк, показавших, как „профили поведения“ (т. е. совокупности часто употребляемых форм слова) можно использовать при разграничении значений полисемичного глагола, при описании групп синонимов и т. п. Было выявлено, что семантические различия между глаголами подтверждаются статистической дистрибуцией форм вида, времени, склонения, а также сочетаемостью с одушевлённым или неодушевлённым субъектом, сочетаемостью инфинитива с отрицанием и т. п. (Gries – Divjak, 2009, с. 71 – 72). Однако эти подсчёты велись безотносительно

к стилям речи. То же самое можно сказать о капитальной работе Л. Янды и О. Ляшевской, базой для которой послужил материал Национального корпуса русского языка. Авторами показано, что из теоретически возможных для видовой пары 121 формы несовершенного вида и 68 форм совершенного вида на практике реализуется только малая часть этой парадигмы. А именно: 85% употреблений всех глагольных форм дают 4 группы „профилей“: изъявительного наклонения в прошедшем и не-прошедшем (т. е. настоящем и будущем) времени, повелительного наклонения и инфинитива (Janda – Lyashevskaya, 2011, с. 722). Но опять-таки думается, что подобные результаты были бы более весомы, если бы были получены с учётом стилевой дифференциации профилей. Видимо, такие разработки ещё принадлежат будущему.

Известная исследовательница русской разговорной речи О. А. Лаптева в 70-е годы прошлого века констатировала: „К нашему времени функциональное размежевание, все углубляясь и захватывая все ярусы языковой системы, начинает активно влиять на грамматику, определяя множественность её реально-языковых воплощений“ (Лаптева, 1976, с. 7). А в новейших работах констатация данного факта принимает вид социолингвистического заключения: „Современный узус очень неоднороден в его отношении к нормам литературного языка и системе национального языка в целом.<...> Профессия говорящих/пишущих в значительной мере ‚диктует‘ владение каким-то одним или разными функциональными стилями, владение нормами устной или письменной речи“ (Сиротинина, 2013, с. 35). Как мы могли видеть, это функциональное размежевание не ограничивается стилями речи, но проникает до уровня отдельных жанров.

Спрашивается, можно ли в таком случае говорить о некоей „усреднённой“ грамматике русского языка – пригодной для всех видов текстов? Разные виды „грамматик“ накладываются друг на друга, пересекаясь в своих объёмах и образуя некоторое поле с более или менее единым центром (так сказать, *basic grammar*) и размытой и своеобразной для каждого случая периферией. Метафора поля, с некоторых пор популярная в языкознании, оказывается применимой и к этому случаю. Периферию данного поля образуют, очевидно, различного рода „квазиграммы“ (по И. А. Мельчуку), потенциальные формы, сильно ограниченные лексической базой, а также явления, специфичные для того или иного стиля и/или жанра.

Конечно, многообразие реальных „грамматик“ – разговорной речи, научных и юридических текстов, поэтических произведений и вообще художественной литературы и т. п. – должно иметь некоторый

**инвариант.** Ему-то и должно соответствовать описание литературного языка, получающее своё закрепление прежде всего в академических грамматиках. Хотя понятно, что и самые солидные грамматики (включая сюда и академическую *Граматику* 1952 года, и *Граматику-70*, и *Русскую грамматику-80*, и вузовские учебники) всегда имеют тот или иной „уклон“ или „перекос“. Но всё же это стремление представить некий грамматический канон. По нему можно обучать, на него можно ориентироваться.

Итак, каноническая грамматика ориентируется прежде всего на инвариантные грамматические знания, представленные в любом функциональном стиле и жанре русского языка. Но на практике к этим знаниям прибавляются ещё те, которые имеют ограниченное „хождение“, употребление только в рамках определённого дискурса. Это и составляет реальную грамматику носителя языка. Все приводившиеся в статье примеры суть проявление дискурсивной обусловленности грамматики. Нет единой грамматики „для всего языка“, есть её варианты для отдельных функционально-стилистических разновидностей.

Размышления над представленными выше фактами приводят нас и к более общим выводам. Жизнедеятельность человека распадается на множество отдельных сфер, слабо связанных между собой. Но каждая сфера диктует свои правила употребления языковых единиц. И овладение этими дискурсивными по своей природе правилами – важнейшая часть социализации индивида. „Социальные правила и нормы... избавляют человека от принятия решений, выбора и избыточной информации. <...> Осознание нормы оберегает человека от излишнего общения“ (Арутюнова, 1987, с. 143). Следовательно, кроме общей, в некотором смысле „усреднённой“, грамматики, нам нужны знания о правилах построения коммуникативных единиц в различных дискурсивных условиях.

## ЛИТЕРАТУРА

- АРУТЮНОВА, Н. Д.: *Ненормативные явления и язык*. In: Язык и логическая теория. Сборник научных трудов. Отв. ред. В. В. Петров. Москва: Центральный совет философских семинаров при Президиуме АН СССР, 1987, с. 140 – 152. ISBN нет.
- БАЛЛИ, Ш.: *Французская стилистика*. Москва: Издательство иностранной литературы, 1961. 394 с. ISBN нет.
- ВАЛГИНА, Н. С.: *Синтаксис современного русского языка*. Москва: Высшая школа, 1973. 423 с. ISBN нет.

- ВАСИЛЬЕВА, А. Н.: *Курс лекций по стилистике русского языка*. Москва: Русский язык, 1976. 237 с. ISBN нет.
- ГОЛОВИН, Б. Н.: *Язык и статистика*. Москва: Просвещение, 1971. 190 с. ISBN нет.
- Динамика структуры современного русского языка*. Отв. ред. В. В. Колесов. Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1982. 136 с. ISBN нет.
- ЗОЛОТОВА, Г. А.: *Очерк функционального синтаксиса русского языка*. Москва: Наука, 1973. 351 с. ISBN нет.
- ЙОССЕЛЬСОН, Г. Г.: *Подсчет слов и частотный анализ грамматических категорий русского литературного языка*. In: Автоматизация в лингвистике. Ред. Л. Н. Засорина. Москва-Ленинград: Наука, 1966, с. 105 – 127. ISBN нет.
- КАРАУЛОВ, Ю. Н.: *Ассоциативная грамматика русского языка*. Москва: Русский язык, 1993. 330 с. ISBN 5-200-01765-3.
- ЛАПТЕВА, О. А.: *О влиянии функционального расслоения литературного языка на его грамматику*. In: Синтаксис и стилистика. Отв. ред. Г. А. Золотова. Москва: Наука, 1976, с. 5 – 24. ISBN нет.
- МИЛОСЛАВСКИЙ, И. Г.: *Вопросы словообразовательного синтеза*. Москва: Издательство Московского университета, 1980. 295 с. ISBN нет.
- Морфология и синтаксис современного русского литературного языка* (серия Русский язык и советское общество. Под ред. М. В. Панова). Москва: Наука, 1968. 187 с. ISBN нет.
- НОРМАН, Б. Ю.: *О двучленных конструкциях типа **взрослым о детях, с песней в дорогу, привет родителям***. In: От значения к форме, от формы к значению. Сборник статей в честь 80-летия А. В. Бондарко. Отв. ред. М. Д. Воейкова. Москва: Языки славянских культур, 2012, с. 432 – 444. ISBN 978-5-9551-0525-3.
- ПОПОВ, А. С.: *Синтаксическая структура современных газетных заголовков и ее развитие*. In: Развитие синтаксиса современного русского языка. Под ред. Н. С. Поспелова и Е. А. Иванчиковой. Москва: Наука, 1966, с. 95 – 126. ISBN нет.
- РУСЕЦКИЙ, В. Ф.: *«Инструкция употреблению», или Причины и механизмы речевых ошибок*. In: Русский язык в школе. 2011, № 2, с. 60 – 68. ISSN 0131–6141.
- Русская разговорная речь. Тексты*. Отв. ред. Е. А. Земская, Л. А. Капанадзе. Москва: Наука, 1978. 307 с. ISBN нет.
- САХАРНЫЙ, Л. В.: *К основаниям теории текстов-примитивов*. In: Деривация и семантика: слово – предложение – текст. Межвузовский сборник научных трудов. Глав. ред. Л. Н. Мурзин. Пермь: Пермский государственный университет, 1986, с. 89 – 98. ISBN нет.
- СЕПИР, Э.: *Избранные труды по языкознанию и культурологии*. Москва: Прогресс, Универс, 1993. 656 с. ISBN 5-01-002079-3.
- СИРОТИНИНА, О. Б.: *Русский язык: система, узус и создаваемые ими риски*. Саратов: Издательство Саратовского университета, 2013. 116 с. ISBN 978-5-292-04194-8.

- ЧЕШОКОВ, В. П.: *Два типа взаимодействия синтаксических единиц*. In: Содержательные аспекты предложения и текста. Межвузовский тематический сборник. Отв. ред. И. П. Сусов. Калинин: XXXX, 1983, с. 46 – 52. ISBN нет.
- GRIES, S. Th. – DIVJAK, D.: *Behavioral profiles: A corpus-based approach to cognitive semantic analysis*. In: *New Directions in Cognitive Linguistics*. Ed. by V. Evans and S. Pourcel. John Benjamins Publishing Company, 2009, p. 57 – 75. ISBN 978-90-272-2378-4.
- JANDA, L. A. – LYASHEVSKAYA, O.: *Grammatical profiles and the interaction of the lexicon with aspect, tense, and mood in Russian*. In: *Cognitive Linguistics*, 22, 2011, 4, p. 719 – 763. ISSN 0936-5907.
- KEMPGEN, S.: *Russische Sprachstatistik. Systematischer Überblick und Bibliographie*. München: Verlag Otto Sagner, 1995. 137 S. ISBN 3-87690-617-2.
- TĚŠITELOVÁ, M.: *Využití statistických metod v gramatice*. Praha: Akademia, 1980. 219 s. ISBN нет.
- WIERZBICKA, A.: *The Semantics of Grammar*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1988. 617 p. ISBN 902-72-3022-6.



## HENRICH BARTEK – ŠTVRŤSTOROČIE PO

Slavomír Ondrejovič

### HENRICH BARTEK – AFTER A QUARTER OF A CENTURY

**Abstract:** The study focuses on the work and times of Henrich Bartek, one of the most significant Slovak linguists of the 1930s and 1940s. While being a leader of the purist movement, he often went beyond purism and influenced Slovak linguistics in an important way. Bartek's time of his emigration is the least researched period, even though his articles and studies from this period form an integral part of his work.

**Key words:** purism, functional linguistics, journal *Slovenská reč* [Slovak language], Bavaria – Slovak relations.

Henrich Bartek (1907 – 1986) ukončil svoju pozemskú púť už viac ako pred štvrtstoročím, ale jeho stopy sú v slovenskej jazykovede viditeľné dodnes. Vo svojom čase, v 30. a 40. rokoch 20. storočia, patril medzi veľké (či mohli by sme povedať najväčšie) authority v slovenskej (v danom zmysle aj slovanskej) jazykovede (porov. výstižne o jeho mieste v slovanskej filológii najmä u Duličenka, 2011, s. 174), po čom nasledovalo obdobie jeho zabúdania a ostrakizácie. Po odchode do emigrácie v roku 1945 sa o jeho osude a vedeckej činnosti dokonca aj v oficiálnych lingvistických kruhoch vedelo úplne málo, takmer nič. Svedčí o tom i fakt, že aj v encyklopedických heslách sa o Henrichovi Bartekovi pre nedostatok informácií aj fabulovalo. Jedna z encyklopédií (po ktorej to opakovali aj iní) ho pochovala už o 12 rokov skôr, než prišiel jeho čas. Anonymnému autorovi uvedeného hesla („Bartek, Henrich“) sa nepodarilo uhádnuť ani miesto skonu, resp. posledného odpočinku Henricha Barteka. Dnes sme v poznaní života a diela tejto významnej osobnosti a výrazného predstaviteľa slovenskej jazykovedy druhej a tretej tretiny 20. storočia dosť postúpili. Ako prví sa dielu Henricha Barteka po Eugenovi Jónovi venovali okrem exilových autorov Štefan Švagrovský a Pavol Žigo, po nich aj viacerí ďalší. Na vedeckej konferencii s názvom *Slovenská reč 1932 – 2002*, ktorá sa konala v septembri roku 2002 pri príležitosti 70. výročia založenia tohto najstaršieho slovenského jazykovedného časopisu, sa meno Henricha Barteka vyslovovalo najčastejšie a najviac účastníkov konferencie sa sústredilo práve na jeho pôsobenie v tomto časopise. Bola publikovaná aj bibliografia prác Henricha Barteka i prác o ňom (Ondrejovič, 2001, s. 66 – 90). Autor týchto riadkov podnikol v r. 1994 aj výskumnú cestu po stopách



tohto význačného slovenského jazykovedca, ktorú opísal v cestopisej črte *Za Henrichom Bartekom na návšteve u benediktínov* (knižne vyšlo v publikácii *Sedem a pol. Zápisky z tzv. vedeckej turistiky*, Ondrejovič, 2006). Vyvrcholením tejto návštevy bolo aj prevzatie Bartekovej knižnej a korešpondenčnej pozostalosti, ktorá po ňom v kláštore Niederaltaich ostala (Ondrejovič, 2013).

Miesto Henricha Barteka je v dejinách slovenskej i slovanskej jazykovedy bezpochyby významné, tento autor patrí bez sporu do panteónu slovenského jazykovedno-hviezdneho neba. Poznanie diela a doby Henricha Barteka zásadne prehĺbil aj vedecký seminár, ktorý sa konal 27. marca 2007 v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV pri príležitosti uplynutia 100 rokov od narodenia tohto autora (články vyšli v časopise *Slovenská reč* v r. 2007). Ako sa ukázalo, Henrich Bartek je mimoriadne zaujímavý autor nielen mnohorozmernosťou svojich záujmov, ale, povedzme to tak, i svojou kontroverznosťou. Pritom nie je jediný, komu sa v dejinách slovenskej jazykovedy pripisuje vyhranená či dokonca vyhrotená kontroverznosť. K najkontroverznejším slovenským jazykovedcom sa oprávnené radí Martin Hattala (Ondrejovič, 2003), ale také hodnotenie si vyslúžil aj Samo Czambel (Ďurovič, 2006). A v čom presne je kontroverzný (a teda pre niektorých o to zaujímavejší) Henrich Bartek?

Základný rozpor osobnosti Henricha Barteka možno vidieť v tom, že bol purista, čo uvádzam bez akýchkoľvek negatívnych konotácií. Bol dokonca hlavou všetkých puristov 30. a polovice 40. rokov 20. storočia na Slovensku. Treba však k tomu dodať, že svojich súkmeňovcov Henrich Bartek prevyšoval práve o spomínanú hlavu. To na jednej strane. Na druhej strane sa zaslúžil o poznanie slovenského jazyka aj tým, že prekračoval úzke rámce puristického videnia jazyka, že neraz sám pretíhal siete, ktorými puristi omotávajú jazyk. Oplatilo sa vstúpiť s ním aj do funkčnej diskusie. Zohral pritom pozitívnu úlohu nielen v zápasoch o podobu novodobých pravidiel slovenského pravopisu a bol nielen zakladateľom a redaktorom prvých ročníkov časopisu *Slovenská reč* (okrem toho aj časopisov *Slovenský jazyk* a *Slovenské divadlo*), ale prispel aj k historickým i synchrónnym výkladom fungovania nášho jazyka. Priniesol zaujímavé (aj keď možno nie vždy prijateľné) ortoepické, prozodické, terminologické a toponomastické interpretácie špecifik slovenčiny. Slovenské jazykovedné myslenie obohatil aj tým, že bol vydavateľom významných diel našej minulosti (najmä Antona Bernoláka a Ľudovíta Štúra), ale stál tiež pri zrode publikácie *Nomina anatomica* J. Ledényiho-Ladzianskeho, pri *Slovenskom frazeologickom slovníku* Petra Tvrdého či pri *Slovníku cudzích slov a výrazov* Jozefa Prídavka ako redaktor či korektor.

Asi niet pochyb, že Henrich Bartek časopis *Slovenská reč* viedol v puristickom duchu (porov. aj rubriku *Puristické drobnosti*, kde nájdeme

jeho výraz *mrazivo*, ktorý odporúčal namiesto *zmrzlina*, *počúvadlo* namiesto *slúchadla*, *zem* namiesto *pôdy*, jeho *protirevolúciu* namiesto *kontrarevolúcie*, slovtvorné tvary *archeolóčka* i *filolóčka* namiesto *archeologička*, *filologička*), no sám ironicky hovoril (už v 1. ročníku časopisu *Slovenská reč*) aj o „horlivých opravovavateľoch slovenčiny“, o „prílišnom purizme“, o „neschopnosti rozlíšiť odtienky rečové“. A on sám do *Slovenskej reči* objednal napr. štrukturalistické články Ľudovíta Nováka a v tej istej *Slovenskej reči* publikoval aj *Tézy pražského lingvistického krúžku* o kultúre spisovnej reči, o ktorých tvrdil, že sa „u nás už dávno uplatňujú, no nie vždy dost dôsledne“. Asi sa však nedá tak jednoducho spojiť puristický prístup s funkčným štrukturalizmom. I pre H. Barteka boli tieto tézy zároveň „priširoké“, lebo, ako hovoril, „v ich mene sa obraňujú germanizmy v češtine“. Aj Ľudovít Novák hodnotil Bartekov pokus o spojenie štrukturalistických a pozitivistických výkladov ako istý eklekticismus. H. Bartek v inom článku *O správnosti jazykovej* nabádal slovenských jazykovedcov, aby sa približovali k stanovisku pražského lingvistického krúžku, sám však svoj výklad neraz rozvíjal predovšetkým na základe kategórií, ako je jazykový cit, dobrý autor a ľudová reč (porov. k tomu Dolník, 2007).

Uvedme ešte niekoľko zaujímavých formulácií, ktorými sa H. Bartek odpútal od vtedajších tradičných výkladov slovenskej jazykovedy: „Aj pri rytmickom zákone išla spisovná norma svojou cestou a nekryje sa celkom zo strednou slovenčinou <...> nesmieme požadovať prílišné postredoslovenčenie spisovnej slovenčiny v tých veciach, v ktorých je ona už ustálená“ (Bartek, 1933/34a).

V štúdiu *Bohatstvo slovenčiny* (1933/34b) sa vyjadruje k vtedajším hlasom o úpadku a skaze nášho jazyka, reagujúc, ako on hovorí, na „bedákanie bojkov nad pokazenosťou dnešnej slovenčiny“. Jeho formulácia je tu jednoznačná: „V skutočnosti stav spisovnej reči slovenskej nie je vôbec taký zlý.“ Dokonca predpovedá, že slovenčinu čaká „utešený vývin do budúcnosti“. Nečítame tu teda celkom nič o poklesnutom, havarijnom či katastrofálnom stave nášho jazyka, ktorý sa stále prehlbuje, ak doň nezasiahneme napríklad novelou zákona o štátnom jazyku, lebo len tak ho môžeme pozdvihnúť na zodpovedajúcu úroveň. Tak to zaznelo viackrát na rokovaní Ústrednej jazykovej rady na Ministerstve kultúry SR (v roku 2007!). Ako keby sa niektorí členovia rady takto vlastne vrátili do čias pred Henricha Barteka a nadväzovali na predbartekovský diskurz.

Niet pochýb o tom, že najmenej prebádanou časťou diela Henricha Barteka sú práce, ktoré vyšli v zahraničí, v emigrácii. Osobitnú pozornosť by si vyžadovali najmä jeho „emigrantské“ štúdie. Niektoré fakty z účinkovania Henricha Barteka v tomto období som uviedol v spomínanej štúdiu v časopise

*Slovenská reč* z roku 2001. Viac vecí k téme možno nájsť v jeho súkromnej korešpondencii z emigrantského obdobia, ktorú som odovzdal do archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine (porov. Ondrejovič, 2013).

O Henrichovi Bartekovi určite platí to, čo na margo slovenských puristov uviedol vo svojom povestnom predsluve k časopisu *Slovo a tvar* v roku 1947 Eugen Pauliny: „... nie je možné, ani spravodlivé paušálne zavrhnúť úsilie a prácu puristov, ktorí vyvíjali svoju činnosť v oblasti slovenského jazyka spisovného hlavne v rokoch 1931 – 1938 <...>. Najmä ich zásluhou <...> ustálili sa výkyvy v hláskoslovnej a gramatickej norme spisovnej slovenčiny, v mnohom sa ustálil aj slovník“ (Pauliny, 1947, s. 1). Na druhej strane však E. Pauliny na tom istom mieste nezakrýva, že dedičstvo purizmu, ktorý po roku 1940 síce slabne, pretrváva aj do súčasnosti. Ide o to, že slovenský inteligent sa práve vinou purizmu prestal, ako to formuluje E. Pauliny, pokladať za spolutvorcu spisovného úzu, lebo si zvykol na úlohu trpného prijímateľa puristických príkazní. Puristi totiž „nepodkladali svoje tézy dokazovaním, ale jednoducho ich predkladali ako hotové nepochybné pravdy, stojac za nimi iba svojou autoritou obhajcov tézy o samobytnom národe“ (ibid.). Nestretávame sa s niečím podobným v inom variante aj dnes? Eugen Pauliny na konferencii o teórii spisovného jazyka na konci 70. rokov upozornil aj na to, že „pri hľadaní účinných prostriedkov na zvýšenie kultivovanosti spisovného jazyka by bolo najväčšou chybou, keby sa bez invencie kopíroval postup, ktorý mal úspech v 30. rokoch“ (Pauliny, 1979). Vzali sme si tento odkaz naozaj k srdcu, hľadáme naozaj všetci nové invenčné cesty k jazyku, ktoré by viedli k jeho lepšiemu pochopeniu i efektívnejšej starostlivosti? Sme všetci schopní pozrieť sa na jazyk aj ináč, než to bolo v 30. rokoch 20. storočia? Aj k takýmto otázkam nás môže nasmerovať uvažovanie nad dielom Henricha Barteka dnes.

## PRÍLOHA

V závere uvádzam niekoľko krátkych sekvencií z listov (na tomto mieste bez podrobných komentárov) z korešpondencie Henricha Barteka z roku 1969, ktoré som objavil v jeho pozostalosti. Išlo o dar, ktorý som získal pri návšteve benediktínskeho kláštora v Niederaltaichu v Bavorsku od miestnej mníšskej komunity. Tieto listy napísané na stroji, na ktorom chýbali viaceré interpunkčné znamienka, naznačujú okrem iného aj to, čím sa v čase svojej emigrácie Henrich Bartek zaoberal a o ktorých otázkach a témach rozmýšľal predovšetkým. No prezrádzajú aj jeho nálady a pocity, ako aj to, kam smerovali jeho sympatie či antipatie. Jeho spôsob zapisovania nechávam v pôvodnej podobe a neupravujem ho do novej pravopisnej normy. Podrobnejšie sa

bartekovskej korešpondencii a publikáciám z jeho pozostalosti venujem v článku *Z kníh Henricha Barteka*, ktorý vyjde v časopise *Slovenská reč*.

Niederaltaich 1. dec. 1969

Drahý Cyrko,

„Pamäti“, ktoré si spomenul, nateraz písať nemienim, lebo pracujem na dôležitejšej veci, ktorej venujem všetok svoj voľný čas, a to bez ohľadu na to, či to vyjde tlačou. Skúmam totiž cyrilometodejské pamiatky a zisťujem v nich stopy slovenčiny. Podľa mňa v dobe cyrilometodejskej sa prekladalo predovšetkým z latinčiny, napr. *Missa Romana* (nazývaná aj *Missa Sti Petri*), ktorej preklad schválil pápež r. 868, bola preložená do slovenského nárečia najneskôr roku 864. K tomuto záveru som prišiel rozborom omšového kánonu (fotokópie ostatných častí prekladu Rímskeho Misálu ešte nemám). Ale aj Evanjiá boli preložené najsamprv z latinčiny a len neskôr grécizované, t. j. opravované u pravoslávnych Slovanov, postupne od 11. storočia. I niektoré knihy Starého zákona, ale aj *Regula Sti Benedicti*, *Vita Sti Benedicti* od pápeža Gregora Veľkého, prirodzene, Gregorove kázne a iné diela (rituál, penitenciál atď.) boli preložené z latinčiny, a to slovenskými kňazmi. Slovom: staroslovanská literatúra sa začala u našich predkov. Lingvistické dôkazy, ktoré sa mi podarilo zistiť, sú dostatočne presvedčujúce. Ide len o to, aby som na diele mohol spokojne pracovať vo výhodnejších podmienkach, než mám tuná, kde niet slovanských slovníkov a inej literatúry.

Prirodzene, že veci ďalej robím. Horáľkova kniha je veľmi zaujímavá. Porovnal texty krátkych evanjeliárov s textami veľkých evanjeliárov (s tzv. apokosmi) a s rozličnými textami štvorevanjelií. Pravdaže, vysvetľuje iba rozdiely medzi nimi, ale zhôd si vôbec nevšíma. Porovnával texty z 35 pamiatok (vydaných, z ktorých však mníchovská knižnica nemá ani tretinu!!). Samozrejme, že slovanské texty porovnáva s gréckym textom. Kde nenachodí oporu v gréckom texte, pomáha si hypotézami, t. j. básňami v próze, ako je to oddávna v móde v nemecko-českej slavistike. Nedal si ani toľko roboty, aby v pochybných prípadoch nazrel do *Vulgáty* alebo *Italy*. Tam by bol totiž našiel, že neraz ide o presný preklad z latinčiny. Keďže Horáľek verí v dogmu, že Konštantín-Cyryl preložil najprv evanjeliár, a to ešte v Grécku, a že na Morave preklad rozšíril, t. j. doplnil chýbajúce časti úplného textu evanjelií, a keďže si myslí, že pred Konštantínom

nebolo nič preložené, nuž celou knihou potvrdzuje staré náhľady. Ale aj tak bude mi jeho kniha na osoh. Lenže ako sa dostanem k tým 35 pamiatkam, aby som mohol porovnať všetky tie miesta, v ktorých sa zhodujú, a jazykovým rozborom zhodných miest určiť, či Konštantín vôbec mohol byť pôvodcom prekladu evanjeliára a štvorevanjelií. Ved' práve zhodné miesta v 35 pamiatkach reflektujú znenie Urtextu, v ktorom bude celá kopa slovakizmov. Ináč aj Horálek uznáva, že Žaltár má menej grécizmov než evanjeliá. Teda dobre som začal so Psalteriom sinajským.

Horálek na práci robil „v letech 1943 – 1945 za podpory Národnej rady badateľskej“ a prirodzene aj po vojne, pritom mal k dispozícii knihy, čo potreboval. Vidno, že Česi aj v čase najhoršom napomáhajú svojich vedcov. –

\* \* \*

Niederaltaich 16. 1. 69

Milý Miško,

pri usporadovaní lístkov vidím, aké množstvo materiálu mám už na kope, a všetko potvrdzuje závery, ku ktorým som prišiel hneď na začiatku, keď v Bohosloví a Šestodneve som našiel veľa slovakizmov. Teraz Savvina kniha dobre doplňuje celkový obraz. Na rozdiel od kódexov štvoroevanjelií (Marianus, Zographensis) Savvina kniha obsahuje iba časti evanjelií, t. j. texty, ktoré sa čítali pri omši. Je to tzv. lektionár, v ktorom však sú záhlavia (titulky), ktorých niet v evanjeliách. Napríklad často prichodí slovo aleluja, a to vo forme aleluia, proti tomu v neskorších textoch sa píše allilulia. Tento druhotvar je zrejmy grécizmus, keďže má i miesto gréckeho, ktoré sa už v 9. storočí vyslovovalo ako i. Okrem toho zdvojené ll v allilulia dokazuje knižný pôvod, podobne ako písanie lvann je novšie, vplyv knižný podľa gréckeho loannes.

V Savvinej knihe sa dôsledne píše aleluia – podľa živej výslovnosti. Tvar s e je z vulgárnej latinčiny, ktorá prejala grécke slovo ešte v prvom storočí po Kristu v takom znení, ako sa vtedy v gréčtine vyslovovalo. Z ľudovej románčiny aleluja preniklo dávno pred príchodom Cyrila a Metoda ku kresťanským Slovanom a zachovalo sa podnes v srbskom aleluja.

To isté platí o slove amen. Srbi podnes majú amen. Ruské amin je sčasti grécizované slovo, t. j. má novšie i podľa gréčtiny. Proti tomu mäkká výslovnosť koncového n v ruštine, ako aj príklady v niektorých

pamiatkach naznačujú slovenské prostredníctvom. V 11. storočí u južných Slovanov, v tomto prípade u Bulharov a Srbov, nebolo mäkké pred pôvodným mäkkým. Teda keby Rusi boli v 11. storočí prejali slovo amen od južných Slovanov, muselo by byť v ruštine tvrdé koncové -n. Ľudové slovenské amen má nielen e podľa latinčiny, ale aj ň, keďže vulgárnilatinské koncové -n sa prejalo ako ň. Pre cirkevnú slovančinu 9. storočia treba predpokladať tvar amen, ktorý sa práve tak ako aleluja dostal na kijevsú Rus dávno pred 11. storočím (ako mnohé iné slová kresťanskej terminológie).

Grécizácia cirkevnoslovanských textov je zjav sekundárny, a to nielen hláskoslovná grécizácia ako v slovách allilua a amin (a v iných), ale aj slovníková (napr. náhrada staršieho сѣ тѣ ник novotvarom kenturion atď., napr. v semogyj – novšie v sedrѣzitel – a iné). A to isté platí aj o syntaxi, napr. náhrade ľudového na knižným v. – Rozvádzať to tuná nemožno.

Ale ešte iný, veľmi dôležitý príklad grécizácie: Savina kniha má ešte tvar Metodij podľa živej reči, v ktorej grécke Methodius dalo Metodij, keďže slovančina v 9. storočí nemala aspirované grécke th, neskôr sa meno Metodij hláskoslovne grécizovalo na Methodij a ďalej na Mefodij (tak v terajšej ruštine, ako Fedor z Theodor, Foma z Thomas atď.)

Savina kniha – podľa mojej mienky ju písal Rus, alebo kňaz účinkujúci medzi Rusmi, medzi východnými Slovanmi – svojím Metodij naznačuje, že jej predloha bola veľkomoravského pôvodu.

Jagić do zunovania opakovane svoju tézu o grécizmoch v cirkevnej slovančine, t. j. čím viacej grécizmov v texte, tým starší text. – Ale pravý opak zodpovedá skutočnosti. – Preto treba rozobrať všetky príklady, čo Jagić uviedol vo svojej Entstehungsgeschichte der kirchenslawischen Sprache, potom sa ukáže aj slovenská účasť na prekladoch Nového a Starého zákona, Rituálu atď., atď. Ako dostať Jagićovu knihu?...

Najzamotanejšie problémy, ktoré som nevedel riešiť, sa odmotávajú. Napríklad slovo присѣлѣ (lat. advena, aj incola), nakoľko prichodí v mnohých staroslovanských textoch, musí byť pôvodu predcyrilometodejského, keďže Bulhari, Srbi a Chorváti tohto slova nemajú ani nemohli mať, lebo nemajú prišiti, ale len došiti tam, kde latinčina má venire, advenire, za ktoré v cirkevnej slovančine je vždy prišiti. Teda da pride cesarstviye tvoje má novšiu gramatickú kategóriu so spojkou da, ale slovesná predpona pri- ukazuje na slovenský pôvod.

Podobne pris stvije (lat. adventus, advent) mohlo vzniknúť len u Slovákov, juhoslovanského pôvodu by bolo „dosъstvije“, ale po takom slove ani stopy. Sv. Cyril prijal do svojich textov prisъstvije, ktoré vtedy bolo bežné u jeho slovenských žiakov a pomáhačov. V slovenčine slovo neskôr zaniklo, a to až po zániku slabých jerov, keď tvar „pristije“ stratil etymologickú súvislosť a bol nahradený slovom prichod. České pristi (Jezise Krista – v starej češtine) je dostatočne doložené a prirodzene pokračovaním staroslovenského pris stvije.

1.100 rokov je dlhá doba a preto nestačí porovnávať terajší jazykový stav, a keď sú rozdiely ako pris stvije – prichod, jednoducho ich obísť, alebo staré slovo pokladať za neslovenské iba preto, že zaniklo a muselo byť nahradené iným slovom.

Vedel som, že Savina kniha je veľmi dôležitá, ale od roku 1925 som do nej nepozrel. Už vtedy som v nej tušil slovakizmy. Hľa, aspoň tento krikľavý: miesto evangelije je evangelija, ale ženského rodu. Latinské slová na -ium prechádzali do ľudovej slovenčiny ako feminína: podnes sa hovorí gymnázija (spisovne gymnázium). Latinské scrinium dalo skriňa s akúťovou dĺžkou, z čoho skriňa (česky skříň zo skrine a to zo skřína). Savva písal evangelija s g, keďže ide o text cyrilikou (ruskou) písaný, kde nebolo d.

Až sa stretneme, rozoberieme slová ozaj, naozaj – uvidíš, ako súvisia s cirkevnou slovančinou. – Atd., atď.

Bohužiaľ, musím skončiť, lebo ma vyrušujú, a chcem, aby list išiel dnes.

So srdečným pozdravením

Dr. Henrich Bartek

\* \* \*

Mníchov 10. 6. 1969

Vážený pán  
p. prof. Dr. Henrich Bartek,  
Niederalteich

Vážený pán profesor,  
podpísaná vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV v Bratislave a práve teraz na výskume v Mníchove, dovoľujem si – na radu p. prof. Dr. Vojtecha Bucku – obrátiť sa na Vás o láskavú informáciu vo veci Bernolákovej korešpondencie. Zaoberám sa totiž v určitom



smere Bernolákovou osobnosťou a v poslednú dobu som publikovala niekoľko obsiahlejších štúdií z tejto oblasti.

Ale k veci: ešte v čase druhej svetovej vojny bolo údajne 14 listov A. Bernoláka tu v Mníchove v Rukopisnom oddelení Staatsbibliothek. Podľa informácií bola táto korešpondencia odovzdaná pre účely slovenskej vedy istej delegácii zo Slov. akadémie vied v Bratislave v období druhej svetovej vojny. Tieto listy sa však podnes neobjavili u nás, Matica slovenská ich vo svojich fondoch nemá a tu v Mníchove si počas vojny neurobili z listov mikrofilm.

Vážený pán profesor, dovoľujem si položiť otázky: nevedeli by ste mi láskave poradiť, kde a ako hľadať uvedené listy? – Som ochotná prekonať akúkoľvek námahu, akúkoľvek prekážku, akékoľvek úsilie, aby som sa dopátrala listov. Totiž tak veľmi záleží na nich nielen mne osobne, ale i slovenskej literárnej histórii teraz a práve dnes, keď ich obsah bol by nielenže aktuálny, ale priamo zásadný pre národný profil samého A. Bernoláka.

Myslím, je Vám dostatočne známa novšia literatúra k Bernolákovej osobnosti. Priniesla som k nej tiež svoj podiel. Napr. „Novšie poznatky k Bernolákovmu Slováru a jeho predhovoru z roku 1796 a 1825“, ktorú zároveň pripojujem na oboznámenie. Iná štúdia „Alexander Rudnay a slovenské národné hnutie (Otázka slovenského prekladu Biblie na bratislavskej synode roku 1822) – Hist. čas. 1968, č. 2 – obsahuje tiež viaceré konkrétne k uvedenej tematike.

V tomto roku mi vyjde v Jazykovednom ústave SAV samostatne Bernolákov autentický slovníček spred roku 1790.

Istotne je Vám známy nový názor u nás, ktorý zastáva prof. Rapant, usilujúci sa nanútiť tézu, že Bernolák po roku 1790 zapadol do maďarizačných kráčov. Popísalo sa o tom veľa. Najnovšie vyjde Rapantova polemika na moju štúdiu „Novšie poznatky k Bernolákovmu Slováru“ (Hist. čas. 1969/čís. 3) a moja replika (Hist. čas. 1969 čís. 4).

Ešte raz si dovoľujem zdôrazniť, akú dôležitosť, aktuálnosť a potrebu má každý novoobjavený alebo existujúci materiál pochádzajúci z Bernolákových rúk. V tomto ohľade by neobyčajne a zvlášť prospela Bernoláková korešpondencia, ktorá údajne pochádza asi z roku 1812.

Vážený pán profesor, veľmi a snažne sa prihovám, keby ste mohli láskave informovať, ako hľadať stopu po listoch. Ich vedecké využitie splnilo by dvojaký cieľ: a) oboznámilo by s myšlienkovou a záujmovou sférou A. Bernoláka z posledných rokov jeho života,



b) umožnilo by rehabilitáciu A. Bernoláka, ktorého národný profil sa dáva do nepriaznivého a nesprávneho svetla. Ako som spomenula, nebudem šetriť námahou ani všestranným úsilím, aby som cestu k listom našla, potrebujem len návod, akým smerom sa uberať, aby bol výsledok pozitívny.

Dovoľujem si domnievať sa, vážený pán profesor, že nenecháte bez povšimnutia môj dotaz a prosbu, že ma o veci láskave poinformujete a podľa Vašich časových možností môže to byť v krátkom čase. V Mníchove sa zdržím do 24. júna.

Vopred čo najsrdečnejšie ďakujem za akúkoľvek odpoveď, a predovšetkým za tú pozitívnu, ktorá by slovenskej vede prispela neobyčajne veľkou hrivnou. Permultas gratias v mene svojom, v mene slovenskej literárnej histórie a najmä v záujme obrany Bernolákovho národného profilu.

Za porozumenie a láskavosť ešte raz vrelá vďaka.

V dokonalej úcte

Dr. M. V.

\* \* \*

V Niederalteichu 12. júna 1969

Veľavážená slečna doktorka,

ďakujem Vám za štúdiu o Slovári. Veru ani som netušil, že za ostatné roky natoľko vzrástol záujem o bernolákovcov. Tuná totiž slovenskú vedeckú spisbu sledovať nemôžem.

V rokoch 1936/37 sme bez úspechu hľadali Bernolákovce listy a za vojny som sa nestaral o Slovenskú akadémiu, takže neviem, či nejaká jej delegácia bola v Mníchove. No vytváram možnosť, že by jej boli požičali originále 14 listov, veď na to nemal práva ani hlavný riaditeľ Bavorskej štátnej knižnice, tým menej vedúci Handschriftenabteilung. Ak sa vtedy ešte nerobili mikrofilmy, nuž mali rotaprint a fotoaparáty, čiže spraviť kópie nebolo problémom. Pred odchodom mali ste sa informovať u vtedajších pracovníkov SAV, kde sú tie listy a čo sa s nimi stalo (Novák, Pauliny, Kotvan, Peciar musia o nich vedieť, ak nejde iba o bublinu, o nezaručenú správu, čo Vám niekto povedal, aby Vás zaviedol). Ak kedysi v Mníchove tie listy naozaj boli, nuž Handschriftenabteilung musí mať ich signatúru, veď zbierky sa podarilo zachrániť pred zbombardovaním. Mali by ste napísať spomenutým pánom, aby Vám obratom odpovedali, čo vedia o tých listoch.

Korešpondencia naisto môže objasniť zahmlené udalosti a veci. V prípade Bernolákovom za úvod ku Slováru bol zodpovedný aj kanonik Palkovič. Ale toto nie je hlavný problém, len autorstvo Dissertatie a Orthographie, ktoré vyšli anonymne. Svojho času dostal som aj exemplár s osobitným vytlačeným venovaním, podpísaným Bernolákom, ale našiel som aj exemplár s latinským vytlačeným venovaním s podpisom Antona Kubicu, ktorý hneď v prvej vete napísal, že toto dielko zostavil s Antonom Bernolákom. Faksimile obidvoch venovaní som pripojil ku faksimile Dissertatie a Orthographie, ktoré som vydal nákladom Matice slovenskej roku 1937. A čakal som, či sa ozvú literárni kritici. Myslím, že ani prof. Stanislav, ktorý neskôr vydal Dissertatiu po latinsky, si veci nepovšimol. A zdá sa mi, že aj Vy pokladáte Bernoláka za jediného pôvodcu Dissertatie. – Riešila sa už táto otázka pôvodu Dissertatie? – Ináč Kubica v Rešetkových Kázňach v dlhej poznámke pod svojou kázňou sa vyponosoval, ako sa zaznáva jeho účasť na Dissertatii. Neraz som chcel ísť do Skačian, kde Kubica umrel, či by sa tam dačo nenašlo, čo by osvetlilo genézu Dissertatie, veď už číro z lingvistickej stránky pravopisný systém, navrhnutý a odôvodnený v Dissertatii, bol na tie časy dôležitým jazykovým činom, keď uvážime mnohé nedôslednosti v česko-bratskom pravopise, ako aj v pravopisoch inoslovanských spisovných jazykov. – Zostavenie Pravidiel slovenského pravopisu vyžiadalo si roku 1938 všetok môj čas a trápne skúsenosti s vytlačeným elaborátom, ktorý Sivák odmietol schváliť na radu všelijakých zákulisných „činiteľov“ a neskôr i vševedca Rapanta – ako sa tým nedávno vystatoval Rapant –, ma donútili na znak protestu odísť z Matice slovenskej v júni 1939. Nuž také boli pomery v čase, keď sme boli natio in statu nascendi a keď sme už mali vlastný štát, v ktorom sa síce založila Slovenská akadémia, ale bez akademikov. Bačoval v nej Novák, ktorý však ako prvý riadny profesor jazyka slovenského riadne, t. j. pravidelne neprednášal a seminárne cvičenia zanedbával, ale mátožil a strieľal spoza bučka – teda Rapant v inom vydaní, údajne „katolíckom“. Títo naši spozabučkári už len narobili škôd našej vede, kultúre a národu vôbec!... No ale už dosť o tom.

Ešte niekoľko slov o Bernolákovi a Kubicovi. Títo 25-roční mladí ľudia roku 1786 sotva mali tie jazykové vedomosti, čo sa odzrkadľujú v Dissertatii. Preto predpokladám, že za nimi stál nejaký prelát, ktorý s nimi debatoval a dodával im aj dôkazový materiál z cisárskej knižnice. Sotva na vlastné trovy mohli vydať Dissertatiu, ktorú zadarmo dostal napríklad každý odberateľ Prešporských novín

(tých českých, evanjelických) a pravdepodobne aj každý katolícky farár na slovenskom území. – Mládež sa hýbe, keď ju niekto nabáda a napomáha. Tak bolo vždy. Pravdaže, pre slovenskú históriu je dôležité zistiť tú sivú eminenciu, čo nabádala Bernoláka a Kubicu a umožnila im aj finančne prvé kroky. Azda ide o tú istú osobnosť, ktorá tak znamenite informovala Lomonosova o samostatnom slovenskom jazyku. Tuším, keby sa hľadalo, prišlo by sa na to.

Ináč keby ste mi napísali, kde všade ste už hľadali Bernolákovu korešpondenciu, možno by mi prišlo na um, kde ešte treba hľadať. Po vyše tridsiatich rokoch bernolákovská problematika je mi už cudzia, no jednako jedno-druhé by mi prišlo na um. Ako teraz pri písaní tohto listu. Palkovič pred vydaním Biblie rozposlal dotazník s latinskými názvami zvierat, stromov atď. Bol to prvý dialektologický dotazník. Istotne bol vytlačený. Viete dačo o tom? Atď., atď. – Okolnosti ma donútili vo voľnom čase zaoberať sa problémami vzniku slovanských jazykov, obdobiím od 8. do 12. storočia, onomastikou, slovanským pôvodom názvov vo východnom Rakúsku, ako aj slovenskou účasťou na vzniku staroslovanskej spisovnej reči. Robím to zo záľuby a na svoje potešenie. Ale takéto starožitnosti Vás sotva zaujímajú.

Želajúc Vám veľa úspechov v odbornej práci, značím sa s úprimným pozdravením.

H. Bartek v. r.

## LITERATÚRA

- BARTEK, H.: *Pravopis, spisovná reč a stredná slovenčina*. In: Slovenská reč, 1932/33, 1, 6, s. 121 – 126. Bez ISSN.
- BARTEK, H.: *O správnosti jazykovej*. In: Slovenská reč, 1933/34a, 2, 1, s. 1 – 16. Bez ISSN.
- BARTEK, H.: *Bohatstvo slovenčiny*. In: Slovenská reč, 1933/34b, 2, 8, s. 217 – 224. Bez ISSN.
- DOLNÍK, J.: *Aktuálne implicitné otázky Henricha Barteka*. In: Slovenská reč, 2007, 72, 3, s. 134 – 138. ISSN 0037-6981.
- DULIČENKO, A. D.: *Osnovy slavjanskej filologii. Istoriko-etnografičeskaja i etnolingvističeskaja problematika*. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011. 208 s. ISBN 978-83-86881-56-7.
- ĐUROVIČ, L.: *K diskusiám o vlastnostiach „rytmického zákona“*. In: Slovenská reč, 2006, 71, 4, s. 224 – 239. ISSN 0037-6981.
- ONDREJOVIČ, S.: *Slovenský jazykovedec Henrich Bartek (1907 – 1986)*. In: Slovenská reč, 2001, 66, 2, s. 65 – 90, s. 129 – 146. ISSN 0037-6981.
- ONDREJOVIČ, S.: *Martin Hattala zomrel pred sto rokmi*. In: Slovenská reč, 2003, 68, 6, s. 365 – 369. ISSN 0037-6981.

- ONDREJOVIČ, S.: *Sedem a pol. Zápisky z tzv. vedeckej turistiky*. Bratislava: Veda, 2006. 132 s. ISBN 978-80-224-0943-8.
- ONDREJOVIČ, S.: *Z kníh Henricha Barteka*, 2013 (v tlači).
- ONDREJOVIČ, S.: *Významný slovenský jazykovedec*. In: *Slovenská reč*, 2006, 71, 6, s. 321 – 329. ISSN 0037-6981.
- PAULINY, E.: *Namiesto úvodu o slovenskom purizme*. In: *Slovo a tvar*, 1947, 1, s. 1 – 3. Bez ISSN.
- PAULINY, E.: *Niekoľko poznámok o spisovnom jazyku v súčasnosti*. In: *Z teórie spisovného jazyka*. Red. J. Ružička. Bratislava: Veda, 1979, s. 43 – 51. Bez ISBN.
- Slovenská reč 1932 – 2002*. Konferencia. Bibliografia. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda, 2003, s. 35 – 43. ISBN 80-224-07777-01.
- Slovenská reč*, 2007, 72, 3. 192 s. ISSN 0037-6981.

## RUSKÁ LITERATÚRA A KULTÚRA V ČASOPISE *THE LITTLE REVIEW*

Mária Kiššová

### **RUSSIAN LITERATURE AND CULTURE IN THE JOURNAL *THE LITTLE REVIEW***

**Abstract:** The paper focuses on Russian literature and culture in the American modernist journal *The Little Review*, specifically on its first two volumes (issues 1/1914 – 10/1916). It deals with the references to Russian literature (reviews of Russian books, reviews of secondary literature) and culture as well as with the references to the political context in Russia. The overview does not aim exclusively at listing the sources but it attempts to show and depict characteristic features of the references in the journal.

**Key words:** *The Little Review*, modernism, Russian literature and culture.

### **1 *The Little Review*: časopis literárnej moderny**

Umelecko-literárny časopis *The Little Review* založila Margaret Andersonová (1886 – 1973) v roku 1914 a vychádzal do roku 1929. Významnú úlohu pri vydávaní časopisu a tvorbe jeho koncepcie zohrávali aj Jean Heapová (1883 – 1964) a Ezra Pound (1885 – 1972). Ambíciou časopisu bolo rozvíjať literárnu a umeleckú kritiku, ktorá bola vnímaná ako nepostačujúca. Na začiatku 20. storočia v anglofónnom kontexte vzniklo a etablovalo sa viacero literárnych, prípadne literárno-umeleckých časopisov. Ako príklady môžeme spomenúť: *Poetry: A Magazine of Verse* (1912 – doteraz, USA); *The Masses* (1911 – 1917, USA); *The Glebe* (1913 – 1914, USA); *Others: A Magazine of the New Verse* (1915 – 1919, USA); *The Forerunner* (1909 – 1916, USA); *The Egoist* (1914 – 1919, Veľká Británia); *The English Review* (1908 – 1937, Veľká Británia).

Časopis *The Little Review* od svojho vzniku zápasil s existenčnými problémami. Už vo štvrtom čísle (1915) nachádzame zmienku o ťažkostiach s inzerentmi. Priestor od s. 56 po s. 62 je venovaný popisu toho, čo „mohlo“ byť na daných stranách propagované. V čísle 10/1916 je oznam, že vzhľadom na nedostatok financií bola redakcia nútená spojiť januárové číslo s februárovým (pozri s. 35). Ako píše Margaret Andersonová v prvom čísle v marci 1914, „criticism as an art has not flourished in this country. We live too swiftly to have time to be appreciative; and criticism, after all, has

only one synonym: appreciation“ (Andersonová, 1914, s. 1). Cieľom časopisu teda bolo (s. 2) „to produce criticism of books, music, drama, and life that shall be fresh and constructive, and intelligent from the artist's point of view. <...> Criticism that is creative – that is our high goal. And criticism is never a merely interpretative function; it is creation: it gives birth!“ Pod literárnou kritikou Andersonová chápala nielen poukázanie na literárne hodnoty, ale zároveň zdôrazňovala význam kritiky, v ktorej sa spája filozofia a poézia, teda kreatívny aspekt recepcie umeleckého diela: „[t]o be really interpretative – let alone creative – criticism must be a blend of philosophy and poetry“ (s. 2).

Popri kritike časopis uverejňoval aj umeleckú tvorbu: poéziu, prózu a esejistické útvary (od čísla 8/1914 sa v časopise objavujú i ukážky výtvarného umenia a sochárstva) a postupne sa sformoval ako významný počín umeleckej moderny vytvárajúci priestor pre dadaizmus, surrealizmus a „nové prúdy“ umenia pôsobiace pred prvou svetovou vojnou, počas nej a po nej. *The Little Review* sa článkami dotýka i daného konfliktu (pozri: Marinetti: *War, the Only Hygiene of the World*, 1914, s. 30 – 31, prípadne *List z Londýna* /Buxton Shanks, 1914, s. 55/). Časopis sa stal v literárnom svete známym najmä vďaka publikovaniu kontroverzného románu Jamesa Joycea *Ulysses*, ktorý bol vydávaný na pokračovanie od marca 1918 do apríla 1920.

Z geografického hľadiska zastúpenia umeleckej tvorby bol časopis esenciálne medzinárodný. Máme tu na mysli tak reflexiu zahraničnej tvorby, ako i priestor venovaný zahraničným prispievateľom, propagácii publikovanej poézie a prózy (aj formou reklamy) a v neposlednom rade i autorskej tvorbe inšpirovanej cudzími kultúrami. V prvom čísle sa napríklad nachádza básnická tvorba inšpirovaná japonským prostredím – Arthur Davison Ficke: *Five Japanese Prints* (1914, s. 3 – 5); reflexia hudby poľského skladateľa Paderewského – Margaret C. Anderson: *Paderewski and the New Gods* (1914, s. 11 – 13); recenzia anglického prekladu švédskej literatúry – Ellen Key: *Rahel Varnhagen: A Portrait*; Margery Currey: *A Feminist of a Hundred Years Ago* (1914, s. 25 – 27); článok o nemeckej spisovateľke Rahel Varnhagenovej (1771 – 1833) – Cornelia L. Anderson: *Some Contemporary Opinions of Rahel Varnhagen* (1914, s. 28 – 29); článok o indickom básnikovi a mysliteľovi Rabíndranáthovi Thákurovi (1861 – 1941) – George Soule: *Tagore As a Dynamic* (1914, s. 32 – 34); rozprava o vplyve francúzskeho filozofa Bergsona (1859 – 1941) – Llewellyn Jones: *The Meaning of Bergsonism* (1914, s. 38 – 41).

Z hľadiska literárneho kontextu (obsahovej náplne časopisu) *The Little Review* v mnohom zachytával „ducha moderny“. Toto obdobie bolo v prvom rade časom hľadania. Kultúra i spoločnosť, v istom zmysle unavené

a vyčerpané, hľadajú obnovu. V oblasti umenia je pre toto obdobie charakteristický vplyv filozofie Nietzscheho a ideí feminizmu, ktoré prirodzene zohrávajú významnú úlohu i v nami analyzovanom časopise. V časopise sa osobnosti a filozofii Nietzscheho venoval najmä George Burman Foster (pozri napríklad články *The Prophet of a New Culture*, 1/1914, s. 14 – 17; *The New Loyalty*, 5/1914, s. 22 – 31; *The Nietzschean Love of Eternity*, 6/1914, s. 25 – 30 a *Longing*, 7/1914, s. 22 – 27), no i George Soule (*Zarathustra Vs. Rheims*, 8/1914, s. 4 – 5) a Alexander S. Kaun (*The Crucified Dionysus*, 6/1914, s. 15 – 19). Problematike feminizmu sa venujú príspevky šéfredaktorky Margaret Andersonovej: „*Incense and Splendor*“ (4/1914, s. 1 – 3), *The Renaissance of Parenthood* (5/1914, s. 6 – 14) a mnohé ďalšie eseje a články.

## 2 Ruská literatúra

Pri nasledujúcej charakterizácii a opise zmienok o ruskej literatúre a kultúre si uvedomujeme istú problematickosť, ktorá sa týka interdisciplinarity a zaradenia jednotlivých odkazov pod špecifické termíny, ako sú literatúra, politika, história, najmä vzhľadom na to, že v mnohých prípadoch je zmienený článok (esej) interdisciplinárny sám osebe. Z dôvodu prehľadnosti sme sa ale rozhodli pre istú špecifikáciu, a to na oblasť literatúry, iných druhov umenia i politiky a histórie. Príspevok nemá za cieľ pokrytie medzinárodnej (svetovej) literatúry, ale zameriava sa výlučne na ruský kontext.

### 2.1 Recenzie ruskej literatúry

Zo širokého kultúrneho spektra dostáva ruská literatúra v časopise *The Little Review* pomerne veľký priestor. Už v prvom čísle (1/1914, s. 47) v rubrike venovanej informáciám o nových knihách, resp. tituloch v tlači nachádzame oznámenie, že v najbližších číslach si čitatelia budú môcť prečítať recenzie vybraných kníh ruskej proveniencie. Špecificky sú spomínané tituly Čechova (predmetom nášho článku nie je sústredenie sa na nuansy anglického prepisu z azbuky; v niektorých prípadoch sa stretávame s viacerými variantmi priezvisk, napr. *Tchekoff – Chekhov*) a Andrejeva: *Plays* (Hry), Čechovove *Stories of Russian Life* (Príbehy z ruského života) a Dostojevského román *The Possessed* (*Diablom posadnutí*).

Medzi recenzované tituly ruskej literatúry v uvedenom období patria nasledujúce publikácie (zoznam uvádzame v chronologickom slede. V prípade, že ide o veľmi krátku recenziu, o samotnom obsahu sa nezmieňujeme):

- *Stories of Russian Life* (A. P. Čechov) a *The Life of Man* (L. Andrejev) – recenziu pripravil Alexander S. Kaun (*Smile and Scream: Chekhov and Andreyev*, 6/1914, s. 44 – 49).

Kaun v recenzii porovnáva poetiku Čechova a Andrejeva, pričom Andrejeva pokladá za pesimistického autora, zatiaľ čo Čechov, i keď videl okolo seba tragédie, reagoval na ne úsmevom, uvedomujúc si, že hlučný protest nemá zmysel. Andrejeva vníma ako dvojité osobnosť: umelca, ale i hovorcu spoločnosti. Ako autor divadelných hier (*Savva* a *Life of Man*) však podľa Kauna zlyhal. Ako príčiny spomína príliš veľa rozprávania a málo drámy. Kritizuje i to, že v každej hre Andrejeva sa objavujú najmenej dve či tri neprirodzené úmrtia, čo na čitateľa a diváka môže po čase pôsobiť rušivo.

- *Tales of Two Countries* (M. Gorkij) – anonymná recenzia (*Autumnal Gorky*, 2/1915, s. 49).

Anonymný autor recenzie vníma publikáciu v podstate ako labutiu pieseň Gorkého, ktorý je podľa neho ako autor už mŕtvy.

- *The House of the Dead* (F. M. Dostojevskij) – recenziu pripravil Ben Hecht (*The Sermon in the Depths*, 3/1915, s. 40 – 42).
- *Taras Bulba* (N. V. Gogol) – anonymná recenzia (*Homo Monstrosus*, 8/1915, s. 41 – 42).
- *Chelkash, and Other Stories* (M. Gorkij) – anonymná recenzia (*Gorky at His Best and Worst*, 8/1915, s. 43 – 44).
- *The Little Angel* (L. Andrejev), *Russian Silhouettes* (A. Čechov) a *The Breaking Point* (M. Arcybašev) – anonymná recenzia (*Two Masters and a Petty Monster*, 8/1915, s. 44 – 45).

Prvou z trojice recenzovaných kníh je zbierka poviedok Leonida Andrejeva. Autor recenzie považuje rovnomennú poviedku zo zbierky za najkrajšiu, akú kedy čítal. Kniha A. Čechova je zbierkou fragmentov a detských príbehov, pričom recenzent prirovnáva autora k Dostojevskému a Turgenevovi. Román M. Arcybaševa recenzent považuje za veľmi slabý. Kritizuje naratív, v ktorom všetky postavy okrem jednej spáchajú samovraždu; všetky ženy sú „padlé“. Arcybaševove predchádzajúce diela (*Sanine* a *The Millionaire*) považuje v mnohých ohľadoch za kvalitatívne lepšie ako diela Andrejeva, no recenzovaná kniha nie je textom, ktorý by si zaslúžil väčšiu pozornosť.

- *My Childhood* (M. Gorkij) – anonymná recenzia (*Gorky's Memories*, 10/1916, s. 26 – 27).

Recenzent kritizuje pokles v kvalite tvorby Gorkého, príliš veľa rušivých detailov, nesmierne kriticky sa vyjadruje o kvalite prekladu (prekladateľ nie je uvedený), ktorý obsahuje nezmysly, očividné chyby a nepresnosti: „Why are the English translations so careless and comical? The book in question is full of such glaring errors, such nonsensical misunderstandings, such atrocious



ignorance, that it has made me pull my hair in despair of solving the dilemma whether I should laugh at the comicalness or whether I should rage at the impertinence" (s. 27).

Okrem samotných recenzií je dôležité spomenúť i článok *An Inspired Publisher* (8/1915, s. 40 – 41), v ktorom anonymný autor vyzdvihuje snahu vydavateľa Alfreda A. Knopfa publikovať zásadné a hodnotné diela ruskej literatúry. Uvádza, že vo vydavateľstve už boli publikované knihy Gogoľa, Lermontova, Gorkého, Andrejeva, Garšina, Kropotkina a na vydanie sú pripravované diela Sologuba, Kuzmina a Ropšina. Autor tiež vyzdvihuje výber prekladateľov, a to najmä z dôvodu prekladu priamo z ruštiny a nie z nemčiny, prípadne francúzštiny, ako to bolo v minulosti. Zmieňuje sa tiež o tom, že ruská literatúra by nemala byť vnímaná iba cez tvorbu Tolstého, Turgeneva a Dostojevského, ale napríklad aj cez diela Gončarova a Garšina.

## 2.2 Recenzie publikácií o ruskej literatúre a spisovateľoch

- *Recenzia knihy The Russian Novel (Le Vicomte E. M. de Vogue)* – recenziu pripravil Llewellyn Jones (2/1914, s. 40 – 41).

Knihy bola pôvodne vydaná v roku 1886, no až teraz sa dostáva k americkému čitateľovi v preklade H. A. Sawyera. Autor sa v nej venuje tvorbe Puškina, Gogoľa, Dostojevského aj Tolstoja, pričom vyzdvihuje ruský realizmus, ktorý podľa neho, na rozdiel od francúzskeho, zachytáva esenciu človeka. Ruský realizmus je takisto špecifický svojou otvorenosťou a záujmom o sféru božského, je v nej prítomný mystický odklon od svetských záležitostí, porov.: „the preoccupation with the divine, the mystical turning away from the things of this world“ (s. 41). Význam ruskej literatúry tak tkvie v možnosti obnovy európskej literatúry.

- *Tolstoy: His Life and Writings* (Edward Garnett) – recenziu pripravil Alexander S. Kaun (*Two Biographies: Verlaine and Tolstoy*, 5/1914, s. 53 – 58).
- *Reminiscences of Tolstoy* (Ilya Tolstoy) – anonymná recenzia (9/1914).

## 2.3 Esejistické články o ruskej literatúre

- Alexander S. Kaun *Futurism and Pseudo-Futurism* (4/1914, s. 12 – 18).

Alexander S. Kaun (1889 – 1944) sa narodil v Rusku, no pôsobil v USA. V časopise *The Little Review* publikuje o ruskej literatúre a kultúre v širšom rozsahu ako iní prispievatelia, no jeho príspevky sa nevenovali iba tejto oblasti. Vo svojich článkoch sa zaoberal umením vo všeobecnosti, poéziou, Bergsonom, Nietzsche, no aj Oscarom Wildom. Pre konkrétnejší obraz

odporúčame oboznámiť sa s článkami: *Reflections of a Dilettante* (4/1914, s. 38 – 40), *The „Savage“ Painters* (recenzia knihy Arthur Jerome Eddy: *Cubists and Post Impressionism* /5/1914/), *The Crucified Dionysus* (o knihe Geoga Brandesa *Friedrich Nietzsche*, 6/1914, s. 15 – 19), *Notes of a Cosmopolite* (4/1915, s. 9 – 17), *Etchings* (7/1915, s. 14), *Choleric Comments* (8/1915, s. 20 – 23), *The Ecstasy of Pain (Fragmentary Reflections on the Art of Przybyszewski;* 9/1915, s. 16 – 22), *The Pathos of Proximity* (esej o súbornom diele Oscara Wilda, 10/1916, s. 8 – 11). Autor sa v spomínanom článku *Futurism and Pseudo-Futurism* (4/1914, s. 12 – 18) venuje modernistickému umeleckému prúdu futurizmu a uvažuje i o jeho vplyve na ruskú literatúru. Futurizmus vníma ako snahu o oslobodenie slov od ich zaužívaného, konvenčného významu, čo v konečnom dôsledku znamená tvorbu nových slov, zvláštne kombinácie slabík, ako aj tvorbu slov, ktoré nemajú zmysel (pozri s. 15 – 16). Tiež sa zmieňuje o snahe ruských futuristov o vytvorenie nového „univerzálneho“ jazyka pozostávajúceho iba zo samohlások.

- George Soule: *Dostoevsky – Pessimist?* (4/1914, s. 41 – 42).
- V sekcii *Book Discussion (Diskusie o knihách)* sa G. Soule venuje analýze románu *The Possessed (Diablom posadnutí)* od F. M. Dostojevského. Ako špecificky ruské vníma to, ako človek nasleduje ideu, čo ho privedie k šíalenstvu, porov.: „He will fasten upon an idea and enshrine it in his holy of holies. He will relentlessly follow the dictates of his idea though it lead him to insanity. There is greatness in his attitude, also absurdity“ (s. 41). Génus Dostojevského ako spisovateľa sa prejavuje v tom, že neponúka odpovede, čitateľ je nútený sformulovať si vlastné závery, tak ako aj v skutočnom živote: „He merely tells what the people do and say. You must draw your own conclusions as in ordinary life“ (s. 42). Román dáva do kontrastu s prijímajúcou kultúrou, do ktorej prekladový text vstupuje. Americkú kultúru chápe ako optimistickú (na rozdiel od poetickej expresie Dostojevského), no zároveň sa pýta, či nejde iba o akýsi plytký optimizmus a či nie je potrebné ísť aj do hĺbky skôr, ako sa uspokojíme s istými závermi: „Isn't a big share of our optimism shallow? Shouldn't we go a little deeper into things before being so sure they are right“ (s. 42)?
- Maurice Lazar: *Dostoevsky's Novels* (5/1914, s. 44 – 49). Autor v článku uvažuje o textoch Dostojevského: *The Idiot (Idiot)*, *The Brothers Karamazov (Bratia Karamazovovci)*, *Crime and Punishment (Zločin a trest)* a iné. Aj Maurice Lazar zdôrazňuje intenzívnu duchovnú kvalitu modernej ruskej literatúry, snahu zachytiť vnútorné obavy a ťažkosti s prispôbením sa jednotlivca

okolnostiam bežného života, porov. „spiritual, or psychical, concern with the individual's adjustment to the functioning of life“ (s. 44). Vyzdvihuje Dostojevského majstrovstvo zachytenia živého jazyka, emócií a činov jednotlivých postáv, no na druhej strane tiež píše, že poetika Dostojevského je v jeho diele jednotná a romány sú tak do istej miery repetitívne. Na rozdiel od Georgea Soula Lazar interpretuje Dostojevského ako optimistu, ktorý zdôrazňuje duchovné chápanie života bez ohľadu na to, čo so sebou prináša. Optimizmus je tu vnímaný v kontexte viery: „He is the most cheerful, sunlight-giving writer in Russian literature“ (s. 48). Práve táto duchovná dimenzia sa v autorových neskorších prácach zvyrazňuje. Za najvýznamnejší román Dostojevského považuje *Bratov Karamazovovcov*, v ktorom autor definuje „his own conception of spiritual beauty in a distinctive fashion not to be found in his other books“ (s. 47). Sila Dostojevského umeleckej výpovede spočíva v tom, že cez čitateľský zážitok spoznávame emócie, s ktorými sme sa ešte nestretli. Postavy jeho románov čelia konfliktom so zásadnými morálnymi otázkami ľudskej existencie, porov.: „His books arouse a feeling of wonder that there can be so many things in our own individual emotions with which we never before came into contact. He moves us so profoundly because he tears his men and women out of their morally-bound lives and makes them confront stupendous questions – the questions of life“ (s. 49).

- Ibn Gabirol: *My Friend, the Incurable II* (9/1914, s. 10 – 14). Autor v článku píše o vnímaní Dostojevského ako mystika. Jeho literárnu tvorbu prirovnáva k vizuálnej poetike Cézanna. Tak ako menovaný maliar i Dostojevskij poukazuje na esenciu javov, človeka a nahotu jeho duše: „We fear him, for he is cruel and takes great pleasure in torturing us, in bringing us to the verge of hysteria; we fear him, for we feel uneasy when we are shown a nude soul“ (s. 12). Gabirol interpretuje Dostojevského ako ruského démona, démona Lermontova, a zároveň i ľudského Mefistofela sochára Antokolského, porov.: „I think of Dostoevsky as of a Demon, a Russian Demon, the sorrowful Demon of the poet Lermontov, the graceful humane Mephistopheles of the sculptor Antokolsky“ (s. 12).
- John Cowper Powys: *The Reader Critic. Mr. Powyson Dostoevsky* (11/1915, s. 61 – 62).

Autor v príspevku porovnáva filozofiu Nietzscheho s poetikou a filozofickým odkazom F. M. Dostojevského.

- *The Subman* (2/1915, s. 11 – 14) – článok je anonymný a zdôrazňuje význam ruskej literatúry nie v zmysle imaginatívnom (ako odzrkadľovanie reality), ale vo význame pretvárania skutočného sveta.

Autor zdôrazňuje ideologický potenciál fikčných myšlienok pretavených napr. do podoby socializmu či iných revolučných hnutí. Ako príklad je uvedené dielo *Sanin* od M. Arcybaševa. Uvedená kniha sa objavila v pravom historickom okamihu, v čase sklamaní a hlbokéj skepsy v spoločnosti. Do tejto atmosféry „vstupuje“ postava nového hrdinu, ktorého hlavným cieľom je uspokojenie vlastných impulzov. Myšlienkový potenciál románu prispel ku vzniku klubov a spoločností, Saninove myšlienky sa stali predmetom diskusií v tlači. Kniha sa stala až takou revolučnou, že vláda bola nútená stiahnuť ju z obehu. Román bol preložený do nemčiny a francúzštiny. Otázkou zostáva, čím sa stal v podstate univerzálny príbeh takým výnimočným a obľúbeným. Podľa autora článku Arcybašev ako typický predstaviteľ svojej doby prináša čisto subjektívny, introspektívny pohľad. Práve subjektívnosťou sa mu darí porozumieť svojim súčasníkom a zároveň byť nimi vnímaný ako ich predstaviteľ.

#### 2.4 Preklady umeleckých textov ruskej literatúry

V nami sledovanom časovom rozpätí sme zistili prítomnosť iba jedného prekladu ruskej literatúry, básne Maximiliana Vološina *The Birth of a Poem* (8/1914, s. 30, preklad A. S. K.).

#### 2.5 Iné informácie viažuce sa k literárnemu kontextu

Ruský literárny kontext sa v časopise *The Little Review* objavuje aj v rôznych iných podobách. Medzi nimi môžeme spomenúť napríklad:

- stručnú informáciu o hre *Love of One's Neighbour* od Leonida Andrejeva v preklade Thomasa Seltzera (4/1914, s. 53);
- báseň Wittera Bynnera *The Last Words of Tolstoi* (7/1914, s. 1);
- informovanie o hre *The Yellow Ticket* od Michaela Mortona, ktorej dej sa odohráva v Petrohrade (8/1914);
- dramatická scéna odohrávajúca sa v Berlíne s ruskou postavou Marye Rudinoff a generála, ktorý bol v minulosti anarchikom: George Soule: *The Logical Extreme* (10/1915, s. 3 – 6);
- článok Ibn Gabirola *My Friend, the Incurable Ill.*, v ktorom autor o. i. spomína aj listy F. M. Dostojevského (10/1915, s. 11 – 14);

- reakcie čitateľov: pozri napr. reakciu čitateľa na román *Sanin* (3/1915, s. 61);
- poviedku s ruským hrdinom odohrávajúcu sa počas 1. svetovej vojny: Florence Kiper Frank: *The Death of Anton Tarasovitch. A Short Story of the Present War* (4/1915, s. 26 – 31);
- odporúčanie článku Rebecy West: *Redemption and Dostoevsky*, ktorý bol publikovaný v periodiku *The New Republic* 12. júla 1915 (5/1915, s. 46);
- odporúčanie článkov Jamesa Hunekera: *Dostoievsky and Tolstoy*, publikovaný v periodiku *The Forum* (august 1915), a Maxa Eastmana: *The Uninteresting War*, publikovaný v periodiku *The Masses* (september 1915; 5/1915, s. 55);
- informáciu o publikovaní knihy Leonida Andrejeva *The Sorrows of Belgium* (6/1915, s. 41);
- propagáciu ruských kníh: *Dead Souls* (Gogol) a *The Black Monk, The Kiss* a *The Steppe* (Čechov; 8/1915, s. 49);
- oznam o prednáške Johna Cowpera Powysa: *Dostoevsky and Nietzsche, other two on The Philosophical basis of Democracy, and Walt Whitman: The Humanist* (9/1915, s. 43);
- recenziu publikácie *The Social Significance of the Modern Drama* (Emma Goldmanová) – recenziu pripravila Marguerite Swawiteová (*Emma Goldman and the Modern Drama*, 7/1914, s. 46 – 47); recenzentka sa kriticky vyjadruje k pohľadu Emy Goldmanovej na dramatikov (Ibsen, Yeats), ktorých poetiku vníma príliš zovšeobecňujúco, a to v prvom rade ako vzburu voči spoločnosti;
- informácie o Klube ruskej literatúry (*The Russian Literature Class/ The Russian Literature Group*); na pravidelných stretnutiach (od januára 1916) si priaznivci ruskej literatúry mohli vypočuť prednášky a zúčastniť sa na diskusiách; stretnutia sa venovali vybraným autorom (Puškin, Lermontov, Gogol, Turgenev, Dostojevskij, Tolstoj a modernisti); prvá prednáška sa uskutočnila 14. januára 1916, informácie o stretnutiach boli zverejnené v nasledujúcich číslach časopisu: 8/1915, s. 35; 9/1915, s. 36; 10/1916, s. 21.

### 3 Iné druhy umenia

Z oblasti iných druhov umenia v čísle 8/1914 nachádzame (s. 32 – 33) zobrazenie sôch Stanislawa Szukalského (pochádzajúceho z poľskej časti Ruska) a následne sprievodné slovo o Szukalskom ako o jednom zo štyroch

mladých umelcov prezentovaných v čísle (William Saphier: *The Old Spirit and the New Ways in Art*, s. 55 – 56).

V čísle 3/1914 je zverejnený článok o úspešnom turné ruského baletu: George Soule: *New York Letter* (s. 36 – 37).

V čísle 7/1915 sa nachádza reklama na Obchod s ruským umením (Russian Art Store /s. 45/).

## 4 Politika a história

### 4.1 Emma Goldmanová

Pomerne veľký priestor – ak to porovnáme s inými politickými témami – je v časopise v sledovanom období venovaný **Emme Goldmanovej** (1869 – 1940). Je potrebné zdôrazniť, že Emma Goldmanová nemôže byť vnímaná iba z perspektívy politickej, ale z hľadiska jej prítomnosti v časopise *The Little Review* treba mať na mysli aj jej feministické aktivity a inú kultúrnu či osvetovú činnosť.

V nami vymedzenom období sa Emme Goldmanovej venovali tri články, menovite dva príspevky Margaret Andersonovej: *The Challenge of Emma Goldman* (3/1914, s. 5 – 9) a „*The Immutable*“ (8/1914, s. 19 – 22) a príspevok Louise Bryantovej *Emma Goldman on Trial* (6/1915, s. 25 – 26).

V prvom článku Margaret Andersonová reflektuje osobnosť Emmy Goldmanovej, ktorú počula dvakrát prednášať a považuje ju za jednu z najprovokatívnejších osobností v Amerike: „Emma Goldman is the most challenging spirit in America“ (s. 9). Hovorí takisto o základných myšlienkach, ktoré Goldmanová reprezentuje; menovite búra mýty o anarchizme, ktorý nie je založený na fyzickej sile, ale na energii intelektu a nových myšlienkach, porov. „anarchists are usually timid, thoughtful, unviolent people; that dynamite is a part of their intellectual, not their physical, equipment; and that the goal for which they are striving – namely, individual human freedom – is one for which we might all strive with credit“ (s. 5). Vyjadruje sa o potrebe zmien v spoločnosti, o odstránení ideológie kresťanstva (kresťanstvo chápe ako značne pasívne, zosobňuje popretie života), konvenčnej morálky a pod.

V druhom príspevku Andersonová zachytáva svoje dojmy z osobného stretnutia s Goldmanovou. V treťom článku autorka Louise Bryantová popisuje, ako bola Goldmanová zatknutá a uznaná za vinnú z prechovávanía nemravnej literatúry (prospekty o antikoncepcii), no v druhom procese bolo vyšetrovanie prípadu z dôvodu nedostatku dôkazov ukončené.

V čísle 9/1915 bol zverejnený článok samotnej Emmy Goldmanovej: *Preparedness. The Road to Universal Slaughter* (s. 7 – 12). Goldmanová

nesúhlasí s vojnovým konfliktom, na ktorý sa Amerika pripravuje. Domnieva sa, že konflikt, ktorý devastuje Európu, sa tak prenesie na ďalší kontinent, pričom vojenské prípravy ešte zvýraznia postavenie privilegovaných tried v spoločnosti. Nebezpečenstvo vidí i v tom, že americký militarizmus bude ešte horší ako nemecký alebo pruský, a to z dôvodu kapitalistického zriadenia Spojených štátov. Roosevelta i Wilsona obviňuje zo spolupráce s tými, čo chcú zbohatnúť z militarizácie. Goldmanová je presvedčená, že funkciou militarizmu je v konečnom dôsledku zabíjanie. Za vyvolávaním vojenskej hystérie vidí skupiny, ktoré sa chcú na vojenskom konflikte obohatiť; vojenský konflikt je tak v konečnom dôsledku interpretovaný ako triedny konflikt.

V časopise sa objavila aj propagácia prednášok Emmy Goldmanovej na témy ako Friedrich Nietzsche, feminizmus, homosexualita, ateizmus, anarchizmus a iné (pozri *Announcement of Emma Goldman's Lectures in May*, 3/1915, s. 36 – 37; 7/1915, s. 45; 8/1915, s. 45). V čísle 8/1915 sa nachádza aj oznámenie o jej vystúpení vo *Fine Arts Theatre* (s. 34).

Okrem toho časopis opakovane zverejňoval aj reklamu na jej publikácie (pozri napríklad *Anarchism and Other Essays* /4/1915, ako aj v predchádzajúcich číslach/ a *The Social Significance of the Modern Drama* /4/1915)/.

#### 4.2 Iné politické aspekty

V rozsiahlejšom článku *Ante-Bellum Russia* (7/1914, s. 13 – 19) sa Alexander S. Kaun venuje problematike súčasného Ruska v živote a v literatúre, ktorú považuje za dôležitú pre poznanie širšieho kontextu (aj v súvislosti s prebiehajúcim vojenským konfliktom). Vychádzajúc z premisy, že literatúra odzrkadľuje život – vrátane zvrátených hodnôt prezentovaných v textoch, straty morálnej citlivosti a hodnoty života –, je obraz Ruska z Kaunovho pohľadu nesmierne pesimistický. A. S. Kaun prináša historický prehľad toho, čo priviedlo Rusko do súčasnej situácie. Spomína Povstanie dekabrístov v roku 1825, ktoré znamenalo žitie pre „ideál“, rok 1905 ako bod nadšenia a nádeje, po ktorom nasledovalo postupné rozčarovanie. Kaun za ústrednú postavu zodpovednú za vzniknutú situáciu považuje Stolypina. Autor nachádza istú nádej vo vojne, ktorú považuje za príležitosť pre očistu Ruska, porov.: „We may further prophesy that, whatever the outcome of the war, Russia will emerge purged and electrified, stirred and volcanized. Surely, „such life“, pre-war life, will be „impossible“ (s. 19).

V podobnom duchu sa nesie i článok *A Glimpse at Russia* (7/1915, s. 34 – 37) podpísaný iba iniciálkou K. Autor zdôrazňuje, že porozumieť tomu, čo sa teraz deje v Rusku, je možné iba vtedy, ak sa ohliadneme a preskúmame



históriu posledných desiatich rokov. Zmieňuje sa o širšom kontexte konfliktu s Japonskom a jeho politických rozmeroch.

V čísle 6/1914 sa Rusku venujú dva články. Autorkou prvého – *Women in War* (s. 4 – 5) – je Sonya Levienová, ktorá sa narodila v Rusku (1888) a emigrovala do Spojených štátov v roku 1896. Druhý článok „*Baboosya*“ (s. 36 – 37) je anonymný a hovorí o dvoch listoch súvisiacich so „starou mamou“ ruskej revolúcie, ktoré zverejnilo Russkoye bogatstvo. Jeden z nich napísala sama Jekaterina Breškovskaja z vyhnanstva v Jakutsku.

V sekcii úvodníkov a oznámení v čísle 9/1914 nachádzame text *Russia in Storm* (s. 49), ktorý uvažuje o aktuálnej politickej situácii v Rusku a nádej vidí v avizovaných liberálnych reformách.

V tom istom čísle (s. 49) sa nachádza aj oznámenie o pripravovaných prednáškach Alexandra Berkmana v Chicagu o vojne a kultúre (pozri tiež 4/1915, s. 67, prípadne 5/1915, s. 13 – 15).

V sekcii veľmi stručných anonymných recenzií v čísle 8/1914 (s. 63) je priestor venovaný knihe *Russia: The Country of Extremes* (autorom je N. Jarintzoff, ktorý sa v zbierke esejí zaoberá i politickými hnutiami v krajine) a publikácii *Changing Russia* (autorom je Stephen Graham).

## Záver

Ako vyplýva z uvedenej štúdie, ruská literatúra a kultúra mali v časopise *The Little Review* pomerne široké zastúpenie. Je zaujímavé uviesť, že iba v jednom čísle (1/1915) sa nevyskytla žiadna zmienka týkajúca sa ruskej kultúry. Z literárneho hľadiska sa priestor venoval najmä reflexii ruskej literatúry (prevažujú články o Dostojevskom), z hľadiska kultúrno-politického dominuje osobnosť Emmy Goldmanovej. Pri recepcii literatúry je akcentovaná najmä hĺbka a filozofia „inakosti ruskej literatúry“, a to najmä z hľadiska jej duchovného a spirituálneho odkazu, ktorý je často súvzťažnený so sociálnym kontextom daného obdobia.

## LITERATÚRA

ANDERSON, C. L.: *Some Contemporary Opinions of Rahel Varnhagen*. In: *The Little Review*, 1914, 1, 1, s. 28 – 29.

ANDERSON, M. C.: *The Challenge of Emma Goldman*. In: *The Little Review*, 1914, 1, 3, s. 5 – 9.

ANDERSON, M. C.: „*The Immutable*“. In: *The Little Review*, 1914, 1, 8, s. 19 – 22.

ANDERSON, M. C.: „*Incense and Splendor*“. In: *The Little Review*, 1914, 1, 4, s. 1 – 3.

ANDERSON, M. C.: *Paderewski and the New Gods*. In: *The Little Review*, 1914, 1, 1, s. 11 – 13.



- ANDERSON, M. C.: *The Renaissance of Parenthood*. In: *The Little Review*, 1914, 1, 5, s. 6 – 14.
- BRYANT, L.: *Emma Goldman on Trial*. In: *The Little Review*, 1, 6, 1914, s. 25 – 26.
- BYNNER, W.: *The Last Words of Tolstoi*. In: *The Little Review*, 1, 7, 1914, s. 1.
- CURREY, M.: *A Feminist of a Hundred Years Ago*. In: *The Little Review*, 1, 1, 1914, s. 25 – 27.
- FICKE, A. D.: *Five Japanese Prints*. In: *The Little Review*, 1, 1, 1914, s. 3 – 5.
- FOSTER, G. B.: *Longing*. In: *The Little Review*, 1, 7, 1914, s. 22 – 27.
- FOSTER, G. B.: *The New Loyalty*. In: *The Little Review*, 1, 5, 1914, s. 22 – 31.
- FOSTER, G. B.: *The Nietzschean Love of Eternity*. In: *The Little Review*, 1, 6, 1914, s. 25 – 30.
- FOSTER, G. B.: *The Prophet of a New Culture*. In: *The Little Review*, 1, 1, 1914, s. 14 – 17.
- FRANK, F. K.: *The Death of Anton Tarasovitch. A Short Story of the Present War*. In: *The Little Review*, 2, 4, 1915, s. 26 – 31.
- GABIROL, I.: *My Friend, the Incurable II*. In: *The Little Review*, 1, 9, 1914, s. 10 – 14.
- GABIROL, I.: *My Friend, the Incurable III*. In: *The Little Review*, 2, 10, 1915, s. 11 – 14.
- GOLDMAN, E.: *Preparedness. The Road to Universal Slaughter*. In: *The Little Review*, 2, 9, 1915, s. 7 – 12.
- HECHT, B.: *The Sermon in the Depths – recenzia knihy The House of the Dead (F. M. Dostojevský)*. In: *The Little Review*, 2, 3, 1915, s. 40 – 42.
- JONES, L.: *The Meaning of Bergsonism*. In: *The Little Review*, 1, 1, 1914, s. 38 – 41.
- JONES, L.: *The Russian Novel – recenzia rovnomennej publikácie (Le Vicomte E. M. de Vogue)*. In: *The Little Review*, 1, 2, 1914, s. 40 – 41.
- KAUN, A. S.: *Ante-Bellum Russia*. In: *The Little Review*, 1, 7, 1914, s. 13 – 19.
- KAUN, A. S.: *Choleric Comments*. In: *The Little Review*, 2, 8, 1915, s. 20 – 23.
- KAUN, A. S.: *The Crucified Dionysus*. In: *The Little Review*, 1, 6, 1914, s. 15 – 19.
- KAUN, A. S.: *The Ecstasy of Pain (Fragmentary Reflections on the Art of Przybyszewski)*. In: *The Little Review*, 2, 9, 1915, s. 16 – 22.
- KAUN, A. S.: *Etchings*. In: *The Little Review*, 2, 7, 1915, s. 14.
- KAUN, A. S.: *Futurism and Pseudo-Futurism*. In: *The Little Review*, 1, 4, 1914, s. 12 – 18.
- KAUN, A. S.: *Notes of a Cosmopolite*. In: *The Little Review*, 2, 4, 1915, s. 9 – 17.
- KAUN, A. S.: *The Pathos of Proximity*. In: *The Little Review*, 2, 10, 1916, s. 8 – 11.
- KAUN, A. S.: *Reflections of a Dilettante*. In: *The Little Review*, 1, 4, 1914, s. 38 – 40.
- KAUN, A. S.: *The „Savage“ Painters – recenzia knihy Cubists and Post Impressionism (Arthur Jerome Eddy)*. In: *The Little Review*, 1, 5, 1914 (bez čísla strán).
- KAUN, A. S.: *Smile and Scream: Chekhov and Andreyev*. In: *The Little Review*, 1, 6, 1914, s. 44 – 49.
- KAUN, A. S.: *Two Biographies: Verlaine and Tolstoy – recenzia knihy Tolstoy: His Life and Writings (Edward Garnett)*. In: *The Little Review*, 1, 5, 1914, s. 53 – 58.
- LAZAR, M.: *Dostoevsky's Novels*. In: *The Little Review*, 1, 5, 1914, s. 44 – 49.
- LEVIEN, S.: *Women in War*. In: *The Little Review*, 1, 6, 1914, s. 4 – 5.
- MARINETTI, T.: *War, the Only Hygiene of the World*. In: *The Little Review*, 1, 8, 1914, s. 30 – 31.

- POWYS, J. C.: *The Reader Critic. Mr. Powyson Dostoevsky*. In: *The Little Review*, 2, 11, 1915, s. 61 – 62.
- SHANKS, B. E.: *London Letter*. In: *The Little Review*, 1, 9, 1914, s. 55.
- SAPHIER, W.: *The Old Spirit and the New Ways in Art*. In: *The Little Review*, 1, 8, 1914, s. 55 – 56.
- SOULE, G.: *Dostoevsky – Pessimist?* In: *The Little Review*, 1, 4, 1914, s. 41 – 42.
- SOULE, G.: *The Logical Extreme*. In: *The Little Review*, 2, 10, 1915, s. 3 – 6.
- SOULE, G.: *New York Letter*. In: *The Little Review*, 1, 3, 1914, s. 36 – 37.
- SOULE, G.: *Tagore As a Dynamic*. In: *The Little Review*, 1, 1, 1914, s. 32 – 34.
- SOULE, G.: *Zarathustra Vs. Rheims*. In: *The Little Review*, 1, 8, 1914, s. 4 – 5.
- VOLOŠIN, M.: *The Birth of a Poem*. In: *The Little Review*, 1, 8, 1914, s. 30.

### **Anonymné články a recenzie**

- Autumnal Gorky* – recenzia knihy *Tales of Two Countries* (M. Gorkij). In: *The Little Review*, 2, 2, 1915, s. 49.
- „*Baboosya*“ In: *The Little Review*, 1, 6, 1914, s. 36 – 37.
- A Glimpse at Russia*. In: *The Little Review*, 2, 7, 1915, s. 34 – 37.
- Gorky at His Best and Worst* – recenzia knihy *Chelkash, and Other Stories* (M. Gorkij). In: *The Little Review*, 2, 8, 1915, s. 43 – 44.
- Gorky's Memories* – recenzia knihy *My Childhood* (M. Gorkij). In: *The Little Review*, 2, 10, 1916, s. 26 – 27.
- Homo Monstrosus* – recenzia knihy *Taras Bulba* (N. V. Gogol). In: *The Little Review*, 2, 8, 1915, s. 41 – 42.
- Reminiscences of Tolstoy* (Ilya Tolstoy) – anonymná recenzia. In: *The Little Review*, 1, 9, 1914 (číslo strán nevedené).
- Russia in Storm*. In: *The Little Review*, 1, 9, 1914, s. 49.
- Two Masters and a Petty Monster* – recenzia kníh *The Little Angel* (L. Andrejev), *Russian Silhouettes* (A. P. Čechov) a *The Breaking Point* (M. P. Arcybašev). In: *The Little Review*, 2, 8, 1915, s. 44 – 45.
- The Subman*. In: *The Little Review*, 2, 2, 1915, s. 11 – 14.

Archív časopisu *The Little Review* je dostupný na webovej stránke: [http://modjournal.org/render.php?view=mjp\\_object&id=LittleReviewCollection](http://modjournal.org/render.php?view=mjp_object&id=LittleReviewCollection).

## **ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПЕРСОНАЛИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ФИЛОСОФСКИХ ТЕКСТОВ Н. О. ЛОССКОГО И Л. П. КАРСАВИНА)**

**Евгений Евпак**

### **THE LINGUISTIC CONCEPTION OF PERSONOLOGY (ON THE EXAMPLE OF PHILOSOPHICAL TEXTS BY N. O. LOSSKY AND L. P. KARSAVIN)**

**Abstract:** One of the actual tendencies in humanities is to study problems through the prism of personality. This paper is an attempt to present some considerations about the anthropocentrism in linguistics. The study is unfolded in line with the linguopersonological hypothesis. This hypothesis is the conception developed by N. D. Golev's Kemerovo scientific linguistic school. This article covers the linguopersonological peculiarities of philosophical texts by the famous Russian scientists N. O. Lossky and L. P. Karsavin. The main purpose of the study is to find out the individual language features in every text. The text is studied as an anthropotext, as a product of a language personality. The system of individual discourses of a language personality is studied by way of an example of the selected philosophical texts.

**Key words:** anthropotext, personology, linguopersonology, philosophical text, discourse, language personality.

Гуманитаристика последних лет всецело обращена к антропоцентризму. Антропоцентризм, ставший следствием серьёзной трансформации современной науки, предопределил особенности отечественной гуманитаристики, поставившей своей главной целью изучение человеческой личности во всём многообразии её проявлений, в том числе в лингвоперсонологическом аспекте. Сам термин „лингвистическая персонология“ появился недавно для обозначения научной дисциплины, объектом которой является языковая личность. В одной из своих статей этот термин предложил В. П. Нерознак. Автор ввёл понятие, обозначенное этим термином, в контекст более общих понятий: персонологии как теории личности вообще и функционализма как философского учения, связанного с именами Ш. Ревунье и особенно Э. Мунье. Это определило выдвижение в статье на первый план проблемы соотношения личности и языкового коллектива (так сказать, проблемы роли личности в динамике языка). Проецируя концепцию Э. Мунье в языковую сферу, В. П. Нерознак

выделяет в ней две тенденции: к деперсонализации и персонализации, во взаимодействии которых формируется личностный универсум. Данная оппозиция, на наш взгляд, имеет высокий объяснительный потенциал по отношению к языковой эволюции. Несмотря на кажущееся доминирование в ней тенденции к деперсонализации (у подавляющего числа языковых изменений нет, а в ряде случаев и не может быть индивидуальных авторов, и соответствующие изменения как бы принципиально деперсонализированы), нет никаких оснований преуменьшать роль креативных индивидуумов в динамике языка (ср. Голев, 2006, с. 7). Масштабы их воздействия весьма разнообразны: от создания отдельных слов до мощного стимулирования процессов становления литературных языков. Развивая лингвистический аспект персонологии (лингвоперсонологии), Н. Д. Голев предлагает ввести в поле лингвистической терминологии категорию „тип языковой личности“. Категориальный статус типов языковой личности в сфере лингвоперсонологического функционирования языка обнаруживается в виде их систематической проявленности в плане языкового выражения. По мнению Н. Д. Голева, за каждым типом языковой личности стоит тип речевых произведений, которые характеризуются качественной определённой внутренней и внешней формы. Учитывая их функциональную специфику, учёный предлагает называть их лингвоперсонемами. Таким образом, „категориально-языковой статус типа языковой личности проявляется в изоморфном единстве плана содержания (личностного) и плана выражения (языкового). При этом число параметров, в которых могут быть выделены типы языковых личностей, значимые для понимания вариативного бытия языка, стремятся к неперечислимости“ (Голев, 2006, с. 8).

На современном этапе развития лингвистической мысли изучение языковой личности входит в число актуальных направлений. По словам Е. В. Иванцовой, обращение к языковой личности, которое в настоящее время активно осуществляется в ведущих научных лингвистических школах, „даёт принципиально новую картину реального функционирования языка социума, позволяет проанализировать широкий круг вопросов, касающихся проблем общего и индивидуального в языке, отражения в языковой системе духовной культуры народа и его мировосприятия, открывает новые горизонты во многих сферах практической деятельности“ (Иванцова, 2010, с. 5). В лингвистике нового времени основательно представлен опыт по определению так называемых параметров, актуализирующих и репрезентирующих неперечислимость типов языковой личности,

например: „синтаксическая языковая личность“ или „орфографическая языковая личность“, „историческая языковая личность“, „языковая личность врача“, „языковая личность эмигранта“, „языковая личность философа“ и т. д. Кроме того, большой интерес к разным типам дискурса явно провоцирует и определённое обращение филологов к исследованию философских текстов (ср. Азарова, 2010, с. 7).

В нашей статье мы будем говорить о лингвоперсонологии Н. О. Лосского и Л. П. Карсавина на материале их философских текстов в контексте методологии Кемеровской лингвоперсонологической школы Н. Д. Голева. Методологической основой нашего исследования служит лингвоперсонологическая гипотеза языка, которая в самом общем виде формулируется следующим образом: принципы устройства ментально-психологического пространства и принципы системного устройства языка коррелятивны между собой, и поэтому есть основания говорить об их относительном изоморфизме. Говоря о персонологическом пространстве, мы имеем в виду прежде всего тот его аспект, который создаётся разнообразием ментально-языковых типов личностей (как носителей языковой способности определённых качественных типов) и тем непрерывным спектром, который это разнообразие формирует (ср. Голев, 2006, с. 20). Лингвоперсонологическая гипотеза предполагает обновление терминологического аппарата науки о языке введением таких понятий, как лингвоперсонология, лингвоперсонологическое функционирование языка, лингвоперсонологическое варьирование, антропотекст (как отражение в тексте особого качества языковой способности его автора или адресата).

В русле лингвоперсонологической гипотезы представляет интерес философское наследие известных персоналистов, русских эмигрантов, пассажиров печально знаменитого „философского“ парохода – Н. О. Лосского и Л. П. Карсавина. Как отметил Л. Матейко, „Николай Онуфриевич Лосский – создатель собственной философской системы, охватывающей все классические дисциплины философии и включающей гносеологию, онтологию, этику и историю философии – за несколько лет своего пребывания в Словакии оказал принципиальное влияние на научную жизнь и атмосферу в академических кругах. Его можно без сомнений причислить к личностям, сыгравшим ключевую роль в формировании словацкой философии XX века“ (Матейко, 2010, с. 66). Л. П. Карсавин – не менее значимая фигура на Олимпе философии, он относится к крупнейшим русским философам XX века; видный историк и культуролог, внёсший, так же, как и Н. О. Лосский, огромный вклад

в становление национальной, но уже литовской философии (речь об этом пойдёт ниже).

Несмотря на общую направленность их взглядов, они отличаются созданием самостоятельных философских систем, философских дискурсов. Вместе с тем философские антропотексты Н. О. Лосского и Л. П. Карсавина могут иметь общие типологические признаки с русским философским текстом XX века как самостоятельным типом текста. Их маркеры: онтологичность – активная концептуализация, транспозиция, субстантивация, роль имени, этимологизация, внимание к внутренней форме слова; экзистенциальность – роль я-текста, концептуализация дейксиса и ключевая роль местоимений, обращённость, адресатность и т. д. (см. рассуждения Н. Азаровой о признаках, определяющих типологические особенности языка русской философии этого периода; Азарова, 2010, с. 12). Приведённый перечень концептуальных маркеров русского философского текста XX века позволяет выявить лингвоперсонологические маркеры философских дискурсов, идентифицирующие их тексты как антропотексты.

Н. О. Лосский раскрыл основы теории познания в свете оригинальной интуитивистской философии. Как считает Е. П. Борзова (2008, с. 20 – 21), „интуиция является основным понятием в философии Н. О. Лосского, но употребляется не в традиционном смысле“. По мнению А. А. Овчарова (2010, с. 232), Лосский определяет интуитивизм как учение о том, как познаваемый предмет вступает в познающее сознание в подлиннике самолично и потому познаётся, так как он существует независимо от акта познания. Претендуя своей философской концепцией на высшее достижение мировой мысли и своеобразие, Н. О. Лосский вводит новые термины, категории. Так, при объяснении процесса познания он уточняет семантику базисных классических философских категорий – субъект, объект, субстанция. Ему также принадлежат такие термины-понятия, репрезентирующие его авторский философский дискурс, как „субстанциональный деятель“, „гносеологическая координация“, „конкретно-идеальное бытие“ (Лосский, 1998). Считая конкретно-идеальное бытие творческим источником и носителем своих же проявлений, философ полагает, что его следует обозначить термином „субстанция“, или „субъект“, однако, стремясь к большей наглядности и конкретности вводимой терминологии, он предлагает обозначить его термином „субстанциональный деятель“. Лосский считает, что субстанциональные деятели на низших ступенях своего развития обособлены друг от друга подобно свободным электронам или протонам в макропространстве, но по мере усложнения создаваемых ими

структур они организуются в определённую иерархию, образуя союзы с последовательно усложняющейся структурой: „протоны и электроны, сочетаясь, образуют атом, из атомов возникают молекулы, кристаллы и т. п., далее – одноклеточные организмы, многоклеточные организмы и т. д. Во главе каждого такого союза стоит субстанциональный деятель, сравнительно более высоко развитый, чем присоединившиеся к нему деятели; он способен организовать подчинившихся ему деятелей и управлять ими, как своими органами... <...> Совокупность деятелей, подчинившихся более высокому деятелю, можно назвать телом его. Надобно заметить, впрочем, что словом „тело“ приходится обозначать, кроме того, и совершенно другое понятие, именно систему пространственных проявлений, производимых главным деятелем в сотрудничестве с подчинёнными ему“ (Лосский, 1998, с. 202). Как отмечает П. П. Гайденок (2001, с. 219), „гносеологическая координация“ – понятие, заимствованное Лосским у имманентной философии, но играющее в его метафизике другую роль, а потому получающее несколько иной смысл. Специально это понятие Лосский разъясняет в статье *Интуитивизм и современный реализм*, помещённой в *Сборнике статей, посвящённых П. Б. Струве*. Обращает на себя внимание термин Н. О. Лосского „всеприсутствие“ („действительное всеприсутствие Божие“), который так же, как термины „всеприсутствие“, „вселенскость“, восходит к авторскому термину В. Соловьёва „всеединство“ (Азарова, 2010, с. 66). По выражению Е. П. Борзовой, язык Лосского-философа сух, спекулятивен, метафизичен, оторван от внешней жизни и высоко возвысился над уровнем обыденного рассудка и представления. Мышление автора поднимается на высокий уровень абстракции (Борзова, 2008, с. 27).

В свою очередь, Л. П. Карсавин оставил заметный след в истории философии как основатель самостоятельной философской системы всеединства. Первые его работы были посвящены медиевистике: движению францисканцев, средневековому монашеству, культуре и быту Римской империи периода упадка. По словам А. Е. Николаева, „уже в этих трудах Карсавина обозначена проблематика, которая в дальнейшем легла в основу его размышлений о ‘человеческом’ измерении истории, о её смысле и структуре, т. е. намечена канва историософской концепции в персонологическом измерении“ (Николаев, 1996, с. 4). Что касается введения / переосмысления Л. П. Карсавиным философского термина, например, в работе *О началах* он досконально прорабатывает как богословскую, так и философскую традиции, а затем включает в последнюю элементы современной ему



философии М. Хайдеггера и А. Бергсона. Карсавин стремится не только философствовать, но и следовать православному догмату, что делает его тексты и философски, и богословски насыщенными. Вместе с тем, как отметил исследователь философско-религиозного творчества философа П. О. Николов, первым подобным экспериментом (который справедливо считают началом философского пути Карсавина) была *Saligia* – маленький текст, в котором в „свёрнутом виде“ присутствуют основные религиозно-философские идеи, развиваемые мыслителем в последующих его работах. Характерно, что он пишет текст, прямо включающий его в длительную традицию католической нраво-учительной литературы. Но, сознательно избрав такую форму для „упаковки“ своих мыслей (и прямо подчеркнув традиционность этой формы во вступлении), Карсавин тут же придаёт ей индивидуальную окраску (Николов, 2003, с. 7). Терминологическую параллель в части введения в его философский дискурс богословской терминологии мы можем увидеть в работе *О личности*, где в контексте своего учения о личности философ анализирует также богословские термины „лик“, „ипостась“, не забывая об обычном словоупотреблении. Карсавин призывает сначала вдуматься в обычное словоупотребление и лишь затем приступить к философскому учению о личности. Он указывает на то, что язык гораздо глубокомысленнее и „метафизичнее“, чем кажется, примером чему является, в частности, сохранение словом *вид* его исконного смысла наружности, облика, лица (Карсавин, 1992). „Именно в связи с понятием лика мы переходим к отношению личности к Богу и к богословской терминологии, прежде всего и более всего к понятию ипостаси (*hypostasis*, по лат. *persona*, т. е. маска, чему, строго говоря, соответствует греч. *prosopeion*, а не *prosopon* = лицо, личность). В отличие от ‚усии‘ (*ousia* от *enai* быть, по лат. – *essentia* от *esse*, но не в позднейшем смысле ‚эссенции‘, как существа и сути, что тоже связано с недостаточным пониманием личности, а скорее уже в смысле ‚*existentia*‘ = ‚существование‘) или – бытия, бытийности, существования, ипостась есть существо, и определённое существо (собственно – подпора, опора, основа, ‚ядро‘, ‚нутро‘, суть, по лат. – *substantia*, *substantia*)“ (Карсавин, 1992, с. 25). Примечательно, что свой философский и теологический дискурсы философ разбавляет психологическим, указывая на теорию о раздвоении личности, которая тогда начинала становиться всё более популярной в психологии (там же, с. 22). К тому же он создаёт и собственный понятийный аппарат, включая в него такие понятия, как неологизмы „качествование“, „всевременность“, „малоупотребляемое“, слово

„стяжённо“, „индивидуация“, которые, конечно, требуют специального пояснения (Мелих, 2003, с. 95 – 96). Упомянутое понятие „стяжённо“ играет ключевую роль в карсавинской конструкции: „Исходный смысл его у Карсавина тот же, что у Кузанца: понятие передаёт взаимосвязь, диалектику части и целого, вводя представление о некоем умалённом, но всё же ещё цельном, целостном присутствии целого в своей части, и всякой части – во всякой другой, если это целое – всеединство. Но Карсавин проводит это представление более настойчиво и последовательно, строя на его базе жёсткую метафизическую конструкцию – свой оригинальный вариант диалектики части и целого, единства и множества“ (Хоружий, 1992, с. 25). Рассуждая о понятии „всеединство“ как об основном концептуальном моменте философской системы Карсавина, следует, однако, отметить небезосновательно мнение – „всеединство“ не является здесь ведущим принципом. Как видит С. С. Хоружий, в дополнение к данному принципу, в его картине реальности всегда присутствует и другой – универсальный принцип становления, изменения реальности. Этот принцип – „триединство“, или же совокупность трёх взаимно упорядоченных ступеней, обладающих общей, единой сущностью. Тексты показывают, что окончательная трактовка триединства у Карсавина сложилась не сразу, ибо для ступеней триады он употребляет разные термины, несущие и разное философское содержание. Он рассматривает триаду потенциальность – становление – актуальность, пробует чисто назывной вариант: Первое – Второе – Третье; и приходит в итоге к окончательному: первоединство – разъединение – воссоединение, или же, в более точной и полной форме, – первоединство – саморазъединение – самовоссоединение (Хоружий, 1992, с. 26).

Говоря об отдельных представителях русской философии и в целом о значении русской философии, отметим, что русская философская литература за рубежом ввела в научный обиход западной науки ряд переинтерпретированных понятий (эйдос, имморализм, почвенничество, провиденциализм, плюрализм, пантеизм, интуитивизм; ср. Грановская, 1995, с. 68). Русская философия создала своё оригинальное учение о софиологии, не принадлежавшее ни к одной из известных нам философских систем. Русские философы писали об особом софийном чувстве – даре непосредственного, глубокого понимания и переживания извечной, непреходящей красоты мира, её ценности, таящейся в самых обыденных вещах при внешней их сухости и невыразительности. Идея Софии / Мудрости получает в русской философии не только отвлечённо-теоретическое, но и образно-символическое воплощение

истины блага, красоты, вечной женственности. „Идеальное единство деятельности, – писал Н. Лосский, – достигается путём искусства жизни, преображающего мир и создающего мир в красоте. Такое действенное искусство Вл. Соловьёв неправильно назвал теургиею, т. е. богодейством. В действительности оно есть сочетание теургии и софиургии, т. е. совместное действие нисхождения человека к Богу“ (Грановская, 1995, с. 70). Как было отмечено выше, Л. П. Карсавин внёс определённый вклад в развитие литовской философии: „Благодаря Карсавину в литовском языке и сегодня живут важнейшие философские понятия – всеединство (*visa ko vienov*), первоединство (*pirmavienyb*), стяжённое (*santrauka*), разъединение (*atsiskirimas*), воссоединение (*susijungimas*). Понятия, термины, идиомы европейской персонологии также пришли в язык литовской философии из трудов Карсавина“ (Ковтун, 2008, с. 39). Именно в Литве вышли его важнейшие труды: на русском языке – *О личности* (1929), на литовском – *Поэма о смерти* (1931) и исследование *История культуры Европы* (*Europos kultūros istorija*, 1931 – 1937). Однако исследователи отмечают, что оригинальные произведения Карсавина на литовском языке – скорее своего рода „автоперевод“, поскольку в его сознании формировались русскоязычные фрагменты текста, которые как бы переводились затем на литовский язык (Ковтун, 2008, с. 39).

Рассматривая язык философов (их дискурсивный терминологический аппарат), мы видим, что термин, ограничивая мысль философским полем, не теряет связь с понятийностью общенационального языка. А философский текст в этой связи „подразумевает не специальную область, даже понятую расширительно (в своём философском значении – авторск.), а некоторое пространство, в котором рождается мысль, некоторое событие мысли, некоторый расклад наименований истины, что не объектно и не тематизируется“ (Лосский, 1991, с. 235, с. 47). Вместе с тем философский аспект накладывает свой отпечаток на общее впечатление „словесности“ текстов, к тому же „данное свойство языка рождается за пределами самого языка, оно происходит от употребляющих язык людей, высказывающихся в определённой ситуации (т. е. ситуации иноmodalности, ирреальности). И потому речь состоит не только из того, что она сама собой говорит, но также и из актуализации этой возможности высказать что-то, из сознания смысла всей ситуации... Точный смысл любого слова всегда определяется теми обстоятельствами, той ситуацией, в которых оно было произнесено. Таким образом, словарное значение каждого слова не более чем остров его подлинных значений, которые во всяком употреблении бывают в какой-то мере разными и новыми, облекая данный костяк живой

плотью конкретного смысла в быстротекущем и постоянно изменчивом потоке речи” (Евпак, 2012, с. 178).

В персонотекстах обоих философов заслуживает также внимания концептуализация местоимений. Например, у Н. О. Лосского это можно видеть в следующем отрывке: „Хорошо известный каждому из нас путём непосредственного наблюдения пример субстанционального деятеля-субъекта, творящего реальное бытие, есть наше ‚я‘. Каждое моё чувство, хотение и поступок принадлежит к сфере реального, т. е. временного бытия, и потому резко отличается от моего ‚я‘. <...> Тем не менее чувства, хотения, поступки теснейшим образом связаны с ‚я‘, они суть его проявления, его переживания: когда ‚я‘ творит их, они не просто существуют, а существуют для ‚я‘, как то, в чём ‚я‘ живёт и в чём ‚я‘ обладает длясебябытием” (Лосский, 2000, с. 36). Концептуальное употребление местоимений мы находим и у Л. П. Карсавина. Для семантической наглядности множественности личности Карсавин вводит понятие „момент личности”. Он пишет: „Присмотревшись к жизни личности повнимательнее, мы замечаем, что всякий её момент проистекает из самого её средоточия, из ‚я‘. Он отчуждается и удаляется от ‚я‘, но далеко не всецело, так что в некоторой мере сможет с ‚я‘ воссоединиться” (Карсавин, 1992, с. 41). По словам Л. М. Грановской, местоимения в философских концепциях русской религиозной мысли начала XX века рассматриваются как символы сверхбытия, „невыразимой глубины” (С. Н. Булгаков), обладающие свойством создавать в семантическом пространстве знакового языка философии упорядоченную, стройную композицию противопоставленных элементов (Грановская, 2005, с. 143). Подобный маркер обнаруживается в заглавии к одному из разделов философского сочинения Н. О. Лосского – *Длясебябытие субстанционального деятеля* (Лосский, 2000, с. 858).

Характерна для Н. О. Лосского и Л. П. Карсавина обращённость в своих текстах к философии Ф. М. Достоевского. По меткому замечанию Н. М. Азаровой, „русские философы, одновременно с освоением философии в европейских университетах, учились и в школе русской литературы, причём это выражалось не только в освоении художественных текстов, но и в появлении целого ряда работ, посвящённых Пушкину, Толстому, Достоевскому и др., а также в тесном общении философов и литераторов” (Азарова, 2010, с. 23). Так, характер разрешения этических и сотериологических проблем в учении Лосского позволяет видеть в нём продолжателя той линии русской мысли, которая проходит и через творчество Ф. М. Достоевского. Не случайно именно Лосскому, как нам кажется, лучше многих других известных философов-

интерпретаторов творчества великого писателя удалось разглядеть основу его религиозного мировидения. Лосский был тем, кто одним из первых заговорил о признании Достоевским обожения конечной целью жизни человека и мира. Он понял, что писатель пророчески угадал направление истории: „Позитивизм, научная философия, материализм, отрицая идею трансцендентного Царства Божия, неизбежно ведут по пути всё возрастающего снижения идеала“ (Лосский, 1994, с. 97). Трагедию своего времени философ воспринял как начало исполнения этого пророчества Достоевского. Можно, не преувеличивая, сказать, что этика Абсолюта рождается из опыта осознания художественного творчества Достоевского, да и само православие часто понимается Лосским через призму его идей (Евпак, 2011, с. 145). Л. П. Карсавин, развивая тему метафизики любви, в *Noctes Petropolitanae* обращается к Ф. М. Достоевскому: „Как в ограниченно духовной (Зосимовской), так и в ограниченно-сладострастной (Карамазовской) любви... очевидно, старается изложить свои идеи в художественной форме. Отсюда проистекает деление содержания (авторское) на ночи, а не на главы“ (Карсавин, 2003, с. 68 – 69).

Таким образом, в рамках избранного направления в части затронутого материала мы попытались проследить зависимость языковой картины мира и идиостиля Н. О. Лосского и Л. П. Карсавина от их философских взглядов.

## ЛИТЕРАТУРА

- АЗАРОВА, Н. М.: *Типологический очерк языка русских философских текстов XX века*. Москва: ГНОЗИС/ЛОГОС, 2010. 228 с. ISBN 5-8163-0090-3.
- БОРЗОВА, Е. П.: *Николай Онуфриевич Лосский: философские искания*. Санкт-Петербург: Издательство СПбКО, 2008. 132 с. ISBN 978-5-903983-01-8.
- ГАЙДЕНКО, П. П.: *Владимир Соловьёв и философия Серебряного века*. Москва: Прогресс-Традиция, 2001. 472 с. ISBN 5-89826-076-5.
- ГРАНОВСКАЯ, Л. М.: *Русский язык в „рассеянии“. Очерки по языку русской эмиграции первой волны*. Москва: ИРЯЗ, 1995. 176 с. ISBN 5-88744-001-5.
- ГРАНОВСКАЯ, Л. М.: *Русский литературный язык в конце XIX и XX вв.: Очерки*. Москва: Издательство Элпис, 2005. 448 с. ISBN 5-902872-06-5.
- ГОЛЕВ, Н. Д.: *Лингвотеоретические основания типологии языковой личности*. In: *Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно-ориентированное обучение*. Барнаул – Кемерово: БГПУ, 2006. с. 7 – 28. ISBN 5-88210-360-6.
- ЕВПАК, Е. В. – ПИЧУГИНА, О. В.: *Этика Абсолюта Н. Лосского и духовный опыт Ф. Достоевского*. In: *Tragédia doby, človeka, literatúry*. Nitra: Univerzita

- Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2011, s. 140 – 158. ISBN 978-80-8094-969-3.
- ЕВПАК, Е. В.: *Лингвоперсоналогия философских текстов Н. О. Лосского*. In: Вестник КемГУ, 2012, 4 (52), т. 3, с. 175 – 179. ISSN 2078-8975.
- ИВАНЦОВА, Е. В.: *Лингвоперсоналогия: Основы теории языковой личности: учеб. пособие*. Томск: Издательство Томского университета, 2010. 160 с. ISBN 978-5-7511-1935-5.
- КАРСАВИН, Л. П.: *Религиозно-философские сочинения*. Т.1. Москва: Ренессанс СП ИВО-Сид, 1992. 325 с. ISBN 5-8396-0092-Х.
- КАРСАВИН, Л. П.: *Путь православия*. Москва: Издательство АСТ; Харьков: Фолио, 2003. 557 с. ISBN 5-17-017991-Х; ISBN 966-03-1739-5.
- КОВТУН, А.: *Многоязычие как константа языкового сознания Л. П. Карсавина. О переводе трактата Л. П. Карсавина О совершенстве*. In: KALBU STUDIJOS, 2008, 13, s. 38 – 43. ISSN 1648-2824.
- ЛОССКИЙ, Н. О.: *История русской философии*. Москва: Высшая школа, 1991. 560 с. ISBN 5-06-002-523-3.
- ЛОССКИЙ, Н. О.: *Бог и мировое зло*. Москва: Республика, 1994. 432 с. ISBN 5-250-02399-1.
- ЛОССКИЙ, Н. О.: *Мир как осуществление красоты. Основы эстетики*. Москва: Прогресс-Традиция, 1998. 413 с. ISBN 5-89423-011-1.
- ЛОССКИЙ Н. О.: *Ценность и бытие: Бог и царство божие как основа ценностей*. Харьков: Фолио; Москва: Аст, 2000. 864 с. ISBN 5-237-05080-8.
- МАТЕЙКО, Л.: *Н. О. Лосский и тени словацкой науки*. In: Мифы – стереотипы – образы. Восприятие России в Словакии. SDK SVE Pro Historia. Институт истории Словацкой Академии Наук. Братислава: Йошкар-Ола, 2010, с. 66 – 79. ISBN 978-5-94808-565-4.
- МЕЛИХ, Ю.: *Персонализм Л. П. Карсавина и европейская философия*. Москва: Прогресс-Традиция, 2003. 272 с. ISBN 5-89826-151-6.
- НИКОЛАЕВ, А. Е.: *Философия истории Л. П. Карсавина*. Тверь: Тверской государственный университет, 1996. 53 с. Bez ISBN.
- НИКОЛОВ, П. О.: *Метафизика и жизнь в творчестве Л. П. Карсавина*. In: Путь православия. Москва: Издательство АСТ; Харьков: Фолио, 2003, с. 5 – 21. ISBN 5-17-017991-Х; ISBN 966-03-1739-5.
- ОВЧАРОВ, А. А.: *Пролегомены к идеал-реалистической теории интуиции*. Кемерово: ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет, 2010. 232 с. ISBN 978-5-8353-1031-9.
- ХОРУЖИЙ, С. С.: *Жизнь и учение Льва Карсавина*. In: Религиозно-философские сочинения. Т. 1. Москва: Ренессанс СП ИВО - Сид, 1992. 325 с. ISBN 5-8396-0092-Х.

## DOMINIK TATARKA A FRANCÚZSKY EXISTENCIALIZMUS

Marcela Antošová

### DOMINIK TATARKA AND FRENCH EXISTENTIALISM

**Abstract:** The connection between the works of Dominik Tatarka and the philosophy of existentialism – especially the French stream – is considered by contemporary literary scholarship as a fact. The aim of this study is to focus on this issue, particularly on the immanent relation of existentialism to those books which are crucial in Tatarka's oeuvre – *V úzkosti hľadania* (In the Anxiety of Searching), *Farská republika* (The Clerical Republic), *Prútené kreslá* (Wicker Armchairs), *Rozhovory bez konca* (Conversations without End), *Písачky pre milovanú Lutáciu* (Scribbles to Beloved Lutecia). The research has two aspects. In the first, we will attempt to interpret the existential moments in the selected texts of Tatarka in general; in the second aspect, we will deal with the atheistic-theistic development of his work (from an existential point of view).

**Key words:** existentialism, French existentialism, Christian existentialism, atheistic existentialism, utmost situation, death, existential poetics.

Spojitosť Dominika Tatarku s filozofiou existencializmu, presnejšie s jej francúzskym variantom, je dnešnou slovenskou literárnou vedou už konštatovaná, a to či už en bloc, alebo na konkrétne-parciálnej úrovni, v súvislosti s niektorými spisovateľovými textami (Jančovič, 1997, s. 3 – 12; Bombíková, 1997, s. 188 – 199; Petrik, 1989, s. 78; Prušková, 1993, s. 108 – 111; Hamada, 1993, s. 88; Števec, 1989, s. 454 a i.).

Našou úlohou je „pozrieť sa“ na uvedenú problematiku na komplexe Tatarkovej ťažiskovej tvorby<sup>1</sup>, respektíve na komplexe v tomto smere si korešpondujúcich (zároveň dosiaľ prístupných) diel – *V úzkosti hľadania* (1942), *Farská republika* (1948), *Rozhovory bez konca* (1959), *Prútené kreslá* (1963) a *Písачky pre milovanú Lutáciu* (1999)<sup>2</sup> – a pokúsiť sa „vyhmatať“ vývoj a spád (obmeny) existencialistických teorém v spisovateľových textoch. Skôr ako podrobíme uvedený „diapazón“ diel existencialistickej optike, je dôležité vyrovnať sa s faktom, že sám Dominik Tatarka zaradenie do existencializmu odmietal: „V mojich knižkách, tak sa mi zdá, nedoznieva ani nadrealizmus, nie sú ani ohlasom existencializmu“ (Tatarka, 1965, s. 51 – 52). Bez toho, aby sme mali potrebu pripisovať autorovi aspekt, ktorý sám poprel, faktom zostáva, že povedomie o francúzskom existencializme mal. Osobne poznal J.-P. Sartra (Tatarka, 1968, s. 268) a bližšie nešpecifikovaný kontakt mal aj s G. Marcelom



(Abrahamowicz, 1994, s. 120). A vôbec, sú to mená, ktoré explicitne spomína vo svojich dielach (*Písačky* – Tatarka, 1999, s. 13 a s. 253; *Navrávačky s Evou Štolbovou* – Štolbová, 2000, s. 267; v publicistických statiach *Proti démonom* – Tatarka, 1968, s. 268, s. 306 – 307, s. 310). A mať vedomie o niečom nesie v sebe potenciú či už intencionálne, alebo neintencionálne s tým pracovať. Faktom však tiež ostáva, že niektoré Tatarkove texty (napr. *Rozprávka o prichádzajúcej jari* zaradená do vydania zbierky *V úzkosti hľadania* z roku 1997) vznikli dávno pred tým, ako sa existencializmus dostal do povedomia Slovenska.<sup>3</sup> Uvedená skutočnosť teda implikuje potenciú existencializmu ešte pred existencializmom. Tento fakt podčiarkuje nielen Dominik Tatarka, ale potvrdzujú ho aj ďalšie mená – F. M. Dostojevskij<sup>4</sup>, J. Čapek (porov. Černý, 1992, s. 86 – 87 a s. 153), J. Červeň (Rosenbaum, 1984, s. 742 – 795) atď. Aj v ich literárno-umeleckom priestore odborníci evidujú existencialistické fragmenty.

Onú možnosť existencializmu pred existencializmom a vlastne aj existencializmu po existencializme dovoľuje samotná neklasická povaha myslenia. V tomto prípade totiž nejde o striktné učenie, ktorého „pôdou“ je bezvýhradne médium rozumu, vedecký pojem, vedecká reflexia, abstrakcia, ale ide o filozofiu konkrétnej ľudskej existencie, konkrétneho ľudského zážitku; v jej centre je konkrétny človek, „<...> ktorý do filozofie vstupuje so svojou konkrétnou historickou situáciou a skúsenosťou, človek, ktorý je zaangažovaný na svojom bytí úlohami a ťažkosťami svojho života“ (Leško, 1993, s. 284). Zároveň je to učenie, ktoré „není umelecky ničím jiným, než čím je filozoficky“ (Černý, 1992, s. 29). A na platforme konkrétnosti otvára existencializmus „diapazón“ invariantne subtílnu „človečích“ (prežívaných špecificky – variantne) problémov (smrť, otázky o zmysle života, strach, úzkosť a pod.). A v tejto invariantnosti smrti, hnusu, úzkosti, strachu, hľadania zmyslu života, ktoré nevlastní žiadna filozofická teória (len existencializmus na ne nájstojčivo upozornil a urobil ich centrom svojho záujmu), ale ľudský subjekt osebe, ktorý v akte činu, v seba-projekcii (vytvárajúc/určujúc svoju esenciu), k oným invariantným problémom cez priezor svojej konkrétnosti precitá, je rozptýl existencializmu do rôznych časov a priestorov prirodzený. Ako skonštatoval V. Černý, existencializmus je smer, ktorý spočíva v „širších, obecnějších a platnějších intuících životních, než jsou jen časové a módní“ (Černý, 1992, s. 14); a „lecko bude existencialistou, kdo přímou příslušnost k směru popírá, a lecko k němu jen zdánlivě nebo jen částečně patří, kdo do něho bývá zařazován“ (Černý, 1992, s. 25 – 26).

A teda ak je úlohou príspevku poukázať na aspekty existencialistickej filozofie v diele Dominika Tatarku, nejde nám o potrebu kamsi ho „natískať“. Chceme len poukázať na (v myslení) prestupujúce sa momenty hlbavých,

filozofujúcich ľudských subjektov, ktoré, otvárajúc intímne, hlbinné problémy ľudskej existencie, sa či už intencionálne, alebo neintencionálne stretávajú na spoločnej „vlnovej dĺžke“.<sup>5</sup> Zároveň sa domnievame, že neporovnať existencialistické aspekty Tatarkovho diela s francúzskym variantom učenia (s ohľadom na spisovateľov vzťah k Francúzsku a jeho spojitosť s J.-P. Sartrom či G. Marcelom) by podľa nás znamenalo čosi podstatné nedopovedať.<sup>6</sup>

Problém existencializmu u D. Tatarku sa nám rozložil do dvoch polôh: úsilie zdefinovať existencialistické axiómy v Tatarkovom diele vo všeobecnosti (1. poloha) otvorilo problém dvoch variantov existencializmu (2. poloha). Načrtla ho už literárna veda, ktorá D. Tatarku spája raz s kresťanskou vetvou existencializmu (Prušková, 1993, s. 108) a raz s jeho ateistickou obdobou (Bombíková, 1997, s. 191). Uvedená skutočnosť, prirodzene, avizuje vážne hodnotové posuny v Tatarkovom nazeraní na svet, čo sa konzekventne muselo odzrkadliť aj v jeho tvorbe. Lebo napriek tomu, že filozofiu existencie spájajú spoločné teorémy [existencia predchádza esenciu (sebatvorba človeka), v centre pozornosti je človek a jeho svet/problémy, kladie sa dôraz na autenticitu ľudského subjektu (nevôľa k masovému prežívaniu života) atď.], v otázke zmyslu života – s ohľadom na ateistickú a kresťanskú vetvu učenia – dochádza k jej názorovému „triešteniu“. Filozofia ateizmu (J.-P. Sartre) je filozofiou samoty, absurdity, pragmatickej nezmyselnosti ľudského bytia končiaceho sa smrťou, zatiaľ čo kresťanský existencializmus (G. Marcel) je filozofiou lásky, ktorá vidí zmysel života v zameraní sa na inú ľudskú bytosť a v intersubjektívnom prepojení a vyústení v Absolútno/Boha.

Aj v našom príspevku sa najskôr budeme venovať pomenovaniu existencialistických momentov vo všeobecnosti a v druhej línii sa pozrieme na ateisticko-kresťanský spád Tatarkovho diela.

## **1 Existencialistické znaky Tatarkovej tvorby vo všeobecnosti<sup>7</sup>**

Základnou črtou existencialistickej filozofie je centrálné zameranie sa na človeka – jeho vnútorný svet a prežívanie, čo v literárnom texte predstavuje zásadnú orientáciu na postavu – subjekt hrdinu a jeho vnútorné prežívanie. Ako skonštatoval Š. Vlašín či V. Černý (Vlašín, 1976, s. 60 – 62; Vlašín, 1984, s. 103; Černý, 1992, s. 25 – 26), existencialistická literatúra je literatúrou vrcholne subtílnou, zameranou na zachytenie autentického prežívania, odklonenou od objektívnych dejov, literatúrou „stiahnutou“ do intimity vnútorného života postavy, literatúrou strachu z vlastnej existencie.

Tento model konštruovania textu, v ktorom sa do popredia dostáva subtílna/intímne prežívanie ľudského subjektu, jeho vnútorný svet, je u Tatarku evidentný. Či už si zoberieme na zreteľ poručíka Dušana z novely *Pach*, Katarínu a jej brata z novely *Kohútik v agónii*, alebo *Prútené kreslá*, v ktorých je, aj keď na pozadí historických skutočností (schyľovanie sa k druhej svetovej vojne), výrazne do popredia „vysunutý“ Bartolomej Slzička a jeho vnútorné prežívanie. Najevidentnejšie sú prostredie a vonkajšie udalosti vykreslené vo *Farskej republike*. Nastavené sú však tak, že v hrdinoch práve ony vyvolávajú existenciálne polohy. Uvedenú skutočnosť už skonštatoval I. Jančovič: „Problémovosť bytia roztvorí (myslí sa tým Dominik Tatarka, poznámka M. A.) v priamom súvisi s konkrétnym historickým časopriestorom. Spočiatku neriešené problémy hlavnej postavy sú spôsobené danými spoločenskými pomermi, ony rozvracajú ináč netragickú osobnosť Menkinu, stupňujú v ňom pocity hnusu a otrávenosti“ (Jančovič, 1996, s. 31).

Ďalším určujúcim momentom existencialistickej filozofie je dôraz na autenticitu ľudskej existencie (pravá/úprimná existencia verzus nepravá/neúprimná existencia), na autenticitu konania. Človek, ktorý v rámci svojho sebautvárania (či už vedome, alebo nevedome) podlieha nejakým determinantom, je človekom neúprimným: „Jestliže jsme definovali situaci člověka jako svobodnou volbu, bez výmluv a bez pomoci, pak každý člověk, který se uchyluje k tomu, že se omlouvá svými vášněmi, každý člověk, který si vymýšlí nějaký determinismus, je člověk, který je neupřímný“ (Sartre, 2004, s. 48), je nepravou osobnosťou. „Jestliže například pasívně přijmu souhrn příkazů, které jsou mi zdánlivě vnuceny prostředím, do něhož jsem se narodil, stranou, k níž jsem se bez skutečné úvahy nechal připoutat, atd., všechno probíhá, jako kdybych skutečně byl jenom nástroj, obyčejné kolečko, zkrátka jako kdyby mi byla odepřena možnost jednání, která je lidskou možností par excellence. To všechno ale při dalším uvážení zároveň předpokládá, že dotyčný nezná sebe sama, že odstrkuje právě to, co jediné mu může dodat vlastní důstojnosti“ (Marcel, 1971, s. 80).

Uvedená polarita „pravé verzus nepravé“ sa u Tatarku zviditeľňuje niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je protikladnosť postáv, keď v konfrontácii „stojí“ oproti sebe autentický a neautentický hrdina. Ako príklad možno spomenúť Martina a „hemžiacich“ sa ľudí z prózy *Rozprávka o prichádzajúcej jari* (zo zborníka *V úzkosti hľadania*). Tatarka brilantne stavia do opozície autentického Martina, prežívajúceho vlastnú konečnosť (cítiaceho blížiaci sa koniec vlastnej existencie), zamýšľajúceho sa nad zmyslom života, pociťujúceho úzkosť, strach a stavajúceho sa voči životu oným filozofickým „prečo?“, a na druhej strane hemžiacich sa ľudí, ktorí sa pre zmenu nepýtajú na nič („Tí ľudia – poháňaní neviditeľnou silou – nepýtali

sa nikdy prečo.<sup>8)</sup>, len pasívne prijímajú realitu. Ich Tatarka veľmi dômyselne pripodobňuje k „bezprizorne“ sa pohybujúcim mravcom, aby naznačil/podčiarkol nevedomosť ich konania: „Ľudia sa hemžili dedinou ako mravce, akoby ich neviditeľná sila poháňala“ (Tatarka, 1997, s. 8).

Konflikt pravého/úprimného verzus nepravého/neúprimného sa ďalej vyjavuje ako vnútorný konflikt v subjekte postavy. Takouto postavou je napríklad Magda z novely *Pred zrkadlom* (zo zborníka *V úzkosti hľadania*). Zrkadlo v tomto prípade predstavuje moment pravdy a je symbolom onoho precitnutia z determinovanosti/davovosti do vlastnej pravosti. Magda (správajúca sa presne podľa vôle rodičov a kráčajúca v „konštantách“ prináležiacich jej spoločenskému postaveniu) stojaca pred zrkadlom je na ples v ťažkých brokátových šatách a v spoločnosti „vyumelkovaných“, konvenciami zviazaných/neautentických dôstojníkov. Moment ponoru do zrkadla jej prináša iný rozmer. Magda „za zrkadlom“ je v lone prírody, sníva o šatách z ľahkého mušelínu a spoločnosť jej robí slobodomyselný, nespútaný bratranec, s ktorým sa cítila šťastná: „Ako je to možné, že som zabudla na svoj sen, i čím som bola šťastná?“ (Tatarka, 1997, s. 61).

Ako vidno, Tatarka determinované/neúprimné verzus autentické/úprimné opätovne dômyselne vykreslil cez kontrujúce si fenomény: ples ako symbol konvencií, spoločenskej etikety, pravidiel kontra príroda ako fenomén živelnosti, slobody, nespútanosti; ťažký brokát ako nepohodlná látka, obmedzujúca prirodzený pohyb, kontra mušelín ako jemný materiál, ktorý dovoľuje slobodu pohybu; a dôstojníci ako postavy „zošnurované“ konvenciami, žijúce v rámci zvonku určených determinácií a pravidiel kontra nespútaný, slobodný bratranec žijúci v rytme svojho „Ja“.

Okrem uvedených dvoch spôsobov vyjavujúcich pravosť a nepravosť bytia nechýba ani Tatarkov explicitný dôraz (apel) na autenticitu existencie, vypovedaný cez médium postavy či rozprávača: „Lenže nie sme dost' ostrážiti voči sebe, nebadáme, alebo badať nechceme, ako sa dejeme, a teda aj podievame. Národ sa deje v reči. Keď žije nevedome, keď žije masovo, môže sa podieľať tak, že to ani nepobadá. Z jednotlivcov zostávajú buď malé smiešne príbežky, anekdoty, udalosti, škandály, alebo zostávajú v reči ako príklady...“ (Tatarka, 1999, s. 256).

Ak hovoríme o existencialistických momentoch, nemôžeme obísť ani fenomén smrti. Je to základný existenciál existencialistickej filozofie, z precítenia konečnosti ľudský subjekt otvára/pociťuje problémovosť svojho bytia, kladie si otázky o zmysle existencie a prežíva existencialistické pocity strachu, úzkosti atď. (Sartre, 2006).

V tomto existencialistickom zmysle pracuje so smrťou aj Tatarka. Je v jeho textoch dôvodom existenciálnej úzkosti, strachu o blízkych (napr.

*Posol prichádza* zo zbierky *V úzkosti hľadania* – matkin strach zo smrti syna; Ešte s vami pobudnúť – synov strach zo smrti matky). Smrť blízkej osoby, ktorú hrdinovia prežijú, je zároveň „spúšťačom“ existencialistickej bolesti, prázdnoty, pocitov nezmyselnosti ľudského života (*Kohútik v agónii* – matkina úzkosť zo smrti syna). Existenciálnu úzkosť, strach, nezmyselnosť ľudského života pociťujú aj postavy, uvedomujúc si vlastnú smrť (zo zbierky *V úzkosti hľadania: Rozprávka o prichádzajúcej jari* – hlavná postava). Dokonca Tatarka neobchádza ani motív samovraždy (v zbierke *V úzkosti hľadania: Ľudia za priečkou*), ktorý podčiarkuje sartróvsku bezhraničnú slobodu, a teda možnosť voliť si smrť namiesto života (Kiczko, 1998, s. 113 – 114).

Ako sme už vyššie načrtli, Tatarka teda korešponduje s existencializmom aj tým, že jeho postavy prežívajú základné existencialistické pocity, ako napr. úzkosť, porov. „Úzkosťou sa mu potila bledá tvár a lysé čelo. Ústa mal krvavé, čo si ich dohrýzol v úzkosti“ (Tatarka, 1997, s. 111); hnus – „Hnus, vyrazil zo seba Mirko Pižurný. Všetko je to hnus“ (Tatarka, 1963a, s. 65); otrávenie – „Urážalo ma, že môžeš byť pri mne otrávený... Prečo máš byť otrávený? A nato zas ty, lebo všetko nemá zmysel“ (Tatarka, 1997, s. 30); tragickosť – „Čo my, Slováčikovia, v tejto vojne? Bol to pocit všeobecný a tragický“ (Tatarka, 1963a, s. 15); osamotenosť – „Na brehu Váhu nám bolo smutno z osamotenía“ (Tatarka, 1997, s. 66) a psychofyziologický pocit nevoľnosti (dávnenie, potenie, triašky atď.), pretože „svuj lidský úděl absurdní cizoty na světě si uvědomujeme, jsme-li pravdiví, stavem nevoľnosti“ (Černý, 1992, s. 36) – „Na hladinu Seiny vypúšťam (Bartolomej Slzička, pozn. M. A.) z tej výšky nie azda slzy a žiale, ale obyčajné žlčovo horké sliny“ (Tatarka, 1990, s. 61 – 62); „... nech si len vydávia, vyvravia (Menkina, Pižurný, pozn. M. A.), čo im ležalo na srdci“ (Tatarka, 1963a, s. 65).

Z uvedeného zároveň vyplýva, že spisovateľ vo svojich textoch využíva lexémy „patriace“ filozofii existencializmu (hnus, úzkosť, osamotenosť, tragickosť atď.) a ako ďalší moment existencialistickej štylistiky nemožno nespomenúť naturalistické polohy Tatarkovho diela. Aj keď Sartre konštatuje, že existencializmus neimplikuje naturalizmus v takej krajnej podobe, aká je typická pre naturalizmus osebe, a teda napr. pre Zolu (Sartre, 2004, s. 11), predsa tieto intencie v existencializme nemožno poprieť. Naturalistické polohy sú evidentné v Sartrovom literárnom diele: „A niesol sa od neho pach moču ako od starých chlapov, čo majú prostatu“ (Sartre, 1966, s. 22); „<...> všetko, čo pochádzalo z môjho tela, bolo hnusné a podozrivé...“ (Sartre, 1966, s. 26); „Miluje ma, ale nemiluje moje slepé črevo v špirituse...“ (Sartre, 1966, s. 95); „<...> videl som, ako sa mu myká veľký zadok... mal veľa sadla. Prišlo mi na um, že guľka z pušky či hrot bajonetu by vnikol do tej kopy mäkkého mäsa ako do hrudy masla“ (Sartre, 1966, s. 14). Nevyhýba sa im

ani Tatarka: „<...> všetko bolo hnusné, všetko ohavné, všetko malo vyletieť do povetria.... Pod troskami starej spoločnosti našiel smrť, lebo Tomáš rád koketoval so smrťou“ (Tatarka, 1963a, s. 105); „Sotili ma do áreštu. Árešt nabitý. Ľudia pod seba špinili“ (Tatarka, 1963a, s. 38); „Na tvrdej poduške ležala lebka, na nej vosková koža natiahnutá. Horúčky strávili všetko mäso“ (Tatarka, 1963a, s. 88); „Rýchlik sa rútil ďalej, vymaniac sa z vôle človeka. Až sa dorútil do mŕtvolnej, ľudským vredom obsýpanej, chrastami a hnisom zohyzdenej krajiny“ (Tatarka, 1963a, s. 79).

## 2 Teisticko-ateistický „vývoj“/spád Tatarkovho diela

Podstata takto nastoleného problému spočíva, prirodzene, v akceptácii či neakceptácii Boha. G. Marcel (kresťanský existencializmus) fenomén Boha uznáva. Zmysel ľudskej existencie vidí v zameraní sa na inú ľudskú bytosť a v intersubjektívnom prepojení a vyústení do Absolútna/Boha – „existence znamená ve skutečnosti koexistence“ (citované podľa Janke, 1995, s. 151); „opravdu být znamená být pohromadě s nějakým Ty na prapůvodním základě lásky“ (citované podľa Janke, 1995, s. 151); „osobnost němůžeme postihnout mimo akt sebevytváření, jednak ale že tato tvorba má jaksi co činit s řadem, který jí přesahuje“ (Marcel, 1971, s. 81); „v my (v mezilidskej korelácii, poznámka M. A.) doufám v Tebe (v Boha, poznámka M. A.)“ (Marcel, 1971, s. 131). Filozofia G. Marcela je teda filozofiou nádeje, nádeje v lásku osebe, v život a jeho pokračovateľnosť v transcendentnom. Filozofia J.-P. Sartra (ateistický existencializmus) je, naopak, filozofiou samoty, absurdity, nezmyselnosti ľudského bytia končiaceho sa smrťou. Sartre konštatuje, že Boh neexistuje (Sartre, 2004, s. 15), človek je človeku vzdialený a smerom k smrti je jestvovanie nezmyselné, pretože smrť je fakt „přetínající pokaždé nějaký sebe-projekt“ (citované podľa Černý, 1992, s. 38); a tak „dějiny kteréhokoliv života jsou dějinami krachu“ (op. cit., s. 38). Absurdnosť ľudského jestvovania však nie je dôvodom na sebaľútosť či pasivitu, naopak, len v aktivite/sebaprojekcii človek tvorí svoju esenciu – „skutečnost spočívá pouze v činu“ (Sartre, 2004, s. 34) – a oná nezmyselnosť ľudského života má u Sartra nesentimentálny, pragmaticko-realistický rozmer<sup>9</sup>.

Graficky by sme uvedené základné „skice“ filozofií a ich rozkol mohli zaznačiť takto<sup>10</sup>:

Sartre:                    *neakceptácia Boha – človek je človeku vzdialený – absurdita a nezmyselnosť ľudského života;*



Marcel: *viera v Boha/Absolútne – človek je človeku zmyslom (transcendentná poloha lásky) – vyústenie v Absolútne – nádej a opodstatnenosť ľudského života.*

U Dominika Tatarku sa v tomto smere (s ohľadom na vyššie spomínaný „diapazón“ diel) vyprofilovali 4 línie:

### **a) Sartrovská línia (*V úzkosti hľadania, Farská republika*)**

Uvedená línia korešponduje so Sartrovými kontúrami filozofie. Boh je v prípade týchto diel veľmi okrajovou problematikou. Aj keď s ním Tatarka ojedinelo pracuje, tento fenomén tu nepredstavuje ono Marcelovo Absolútne, ku ktorému subjekt v sebe (svojej podstate) a cez intersubjektívne prepojenie s druhým „Ja“ precitá. Boh stojí direktívne nad človekom a je mu vzdialený. A preto, aj keď ho postavy veľmi ojedinelo spomínajú, ide tu o vzťah dvoch entít – Boh verzus človek [nie o marcelovskú súnaľezitosť „menšieho“ (človeka) vo „väčšom“ (Boh)<sup>11</sup>] –, ktorý sa vyjavuje ako vzťah konfliktný a napätý. A tak hrdinovia s oným vyšším princípom (Boh) bojujú a vynucujú si svoju vôľu: „Povedala (Žofia Hajčová, poznámka M. A.), že ju Boh musí vyslyšať a syna jej vrátiť...“ (Tatarka, 1997, s. 78). Boh zároveň nie je ani tou inštanciou, ktorá dáva ľudskej existencii zmysel, a aj napriek jeho existencii sa človek cíti opustene a osamelo: „V bezodnej samote, do ktorej sa razom preborila, našla Boha osamelých“ (Tatarka, 1997, s. 79). Dokonca je človek/svet len akoby nástrojom Božích potrieb: „Ale on tu bol sám (Peter Daniš, poznámka M. A.) s pocitom naprostej samoty, taký pocit musel mať aj Boh, keď sa vznášal nad priepasťami tmy, lebo musel stvoriť svet, aby tu nebol sám“ (Tatarka, 1997, s. 21). A teda či už Boh je, alebo nie je, človeku to nepomáha. A je vo svete na svoje bytie a jeho realizáciu sartrovsky sám.

V sartrovskom duchu sa v týchto dielach nedarí ani medziľudským vzťahom, ktoré zlyhávajú na všetkých úrovniach, či už si zoberieme na zreteľ vzťahy partnerské (Irene a Žigo v *Ošiali* zo zbierky *V úzkosti hľadania*), Dušan a jeho manželka (*Pach* zo zbierky *V úzkosti hľadania*), biologická láska Tomáša a Achinky (*Farská republika*), pokrvné vzťahy – matka a syn (*Posol prichádza* zo zbierky *V úzkosti hľadania*), alebo priateľské – Gustáv Časnocha a jeho dávnny priateľ (*Ľudia za priečkou* zo zbierky *V úzkosti hľadania*). Uvedené potvrdzuje aj dominantný výskyt výrokov ako napr.: „Ocitli sa tak blízko jeden druhého, a hoci Tomáš stál od neho iba na pár krokov, ani strýko, ani mať nebrali ho dlhý čas na vedomie... To vnuklo Tomášovi pocit, aký je človek človeku vzdialený“ (Tatarka, 1963a, s. 26). Niektoré z konštatovaní navyše presahujú rámec konkrétneho fabulačného priestoru a majú všeobecný rozmer:



„Osudy našich mileniiek, dennodenných priateľov, ľudí podľa všetkého nám najbližších sú nám neprípustné, že osudy ľudí sú si vzdialené ako hviezdy a že sa nikdy nezblížujú“ (Tatarka, 1997, s. 50).

Absencia či autentické neprežitie Boha, medziľudská vzdialenosť, osamotenosť logicky „pretkávajú“ diela pochmúrnou, ťaživou atmosférou, čo korešponduje s onou sartrou pragmatickou nezmyselnosťou, absurditou ľudského života končiaceho sa smrťou: „... všetko sa to končí kdesi tam, kde nás odvezú“ (Tatarka, 1997, s. 50); „Lebo to všetko nemá zmysel“ (Tatarka, 1997, s. 30); „Márne žila, márne zomrela“ (Tatarka, 1963a, s. 155).

Schéma tejto línie teda korešponduje s vyššie uvedenou schémou

J.-P. Sartra: *neakceptácia „Boha“ – človek je človeku vzdialený – absurdita a nezmyselnosť ľudského života.*

### **b) Sartrovsko-marcelovská línia (novely *Kohútik v agónii* a *Ešte s vami pobudnúť*)**

Uvedená línia je symbiózou myslenia J.-P. Sartra a G. Marcela, aj keď celkový spád a podstata textov sa javia ako sartrou. Zo Sartra tu platí neakceptácia Boha a s ohľadom na fakticitu smrti celkový pocit absurdity života, z Marcela sa do noviel dostáva len oná medziľudská potreba (vzájomná nutnosť), ktorá má však v novelách iné „dopovedanie“. Kým u filozofa (ako sme už vyššie spomenuli) je človek (jeho dyadická – neposesívna – láska) pre človeka zmyslom existencie a zároveň „prostriedkom“ k poznávaniu/odhaľovaniu Boha, v prípade noviel (presne ako v 1. línii) sú Boh a človek samostatné, oddelené entity. A neakceptovanie vyššieho princípu v zmysle, v ktorom ono „vyššie“ (respektíve najvyššie) dáva ľudskej konečnosti nekonečnosť, pokračovateľnosť a naplňuje ju tak opodstatnenosťou, logicky so sebou prináša opätovne (ako v prípade 1. línie) atmosféru absurdity a nezmyselnosti života. No aj napriek tomu, že človek tu nepredstavuje fenomén, kvôli ktorému ľudská existencia „vynachádza“ Boha, predsa je v tomto prípade (oproti prvej (sartrou) línii, kde sú si ľudské subjekty napriek vzájomnej neuhasiteľnej túžbe po sebe nezmieriteľne vzdialené) človek pre človeka oporou, no oporou ľudskou, ktorá síce nevyvracia nezmyselnosť/absurdnosť ľudskej existencie, ale onú nezmyselnosť a absurditu pomáha druhému človeku prežiť, zjemniť. A tak s G. Marcelom je tu totožná len ontologická potreba druhého človeka, pretože len človek (jeho schopnosť láskavosti, nehy, súcitu, lásky) dáva nezmyselnej, konečnej ľudskej existencii (na čas jej jestvovania) zmysel a pomáha zjemniť absurditu života.

Boh, ako sme už vyššie naznačili, napriek explicitnému vypovedaniu je entitou postavami autenticky nenažitou, nerešpektovanou (presne ako

v 1. línii), spochybňovanou. Aj keď spisovateľ s fenoménom Boha, ako v prvom prípade, pracuje, opätovne ide o boj, napätie, stratu viery v to, že transcendentné je človeku na pomoci: „Mater ako ty, človek ako my, čo sme túto vojnu prežili, mal by sa tak zariadiť aspoň v tom, ako rozmýšľa, aby zbytočne netrpel svojou dôverčivosťou, detskou neprimeranou predstavou. Napríklad, že Boh čosi, kohosi spravodlivo odmeňuje alebo trestá. Alebo že Božie mlyny melú... a tak ďalej. Nezdá sa ti to? Azda to bolo kedysi pekné, keď človek veril, že kdesi hore má starostlivého opatrovníka alebo spravodlivého mlynára. Ale nemá, človek nemá nikoho takého. Po prvej, po druhej svetovej vojne načisto prestal som tomu veriť“ (Tatarka, 1963b, s. 221). „S matkou je to už veľmi vážne. Lebo ešte keď sa istejšie cítila na nohách, cnela si a ťažkala, že ju sily opúšťajú, ale ešte si trúfala odísť do kráľovstva nebeského. Teraz už ani ta dôjsť si netrúfa. Je nekonečne unavená. Alebo si už hádam nie je celkom istá, či tam nájde pokoj, odkedy nebom lietajú lietadlá, frčia strely“ (Tatarka, 1963b, s. 270).

Čo sa týka medziludzské vzťahov (ako sme už načrtli), v spomínaných novelách je človek pre človeka jedinou oporou: „Nemajte mi za zlé, ale ja iné božstvá neuznávam, len svoju mamu“ (Tatarka, 1963b, s. 289); je marcelovským zmyslom existencie, no oproti filozofii G. Marcela sa ľudské bytia nestretávajú na intersubjektívnej platforme a neústia do Absolútna/Boha. Ono milovanie má výhradne ľudský rozmer túžby po človeku (potreby zblížovania) a pre vzájomnú „inost“ aj realistický rozmer vzájomného vzdalovania. Matka v novele *Ešte s vami pobudnúť* konštatuje: „Tu na svete niet spočinutia. Tu niet istoty. Iba ľudia, títo dvaja (myslí sa syn a jeho manželka, poznámka M. A)“ (Tatarka, 1963b, s. 261). A táto istota je o pár riadkov ďalej spochybnená: „Niet kde spočinúť, ani na márnú chvíľu, ani pohľadom a tým menej unavenou myslou. Pusto, prázdno je tu. Deti a ich vzťahy, všetko neisté“ (Tatarka, 1963b, s. 284).

Napriek tomuto zblížovaniu a vzdalovaniu však nie Boh v človeku (ako v prípade G. Marcela), ale iba človek – jeho láska a súcit (aj keď prchavé a nestále) – je jediným zmyslom/oporou/nádejou nezmyselnej ľudskej existencie: „Život každého z nás, čo sme prežili túto vojnu, je spoločná výhra ľudskej dobroty a odvahy... všetko je to okrem lásky a súcitu strašný nezmysel... Každý človek pre niekoho niečo znamená...“ (Tatarka, 1963b, s. 208). „To je to, čo sa v nich najhúževnatejšie drží života – Nádej. A súcit. Sestra tým súcitom pri bratovi nažíva...“ (Tatarka, 1963b, s. 216).

Ako v prípade 1. línie človek s človekom v týchto textoch neústi do Absolútna a postavy neuznávajú žiadny presah, pokračovateľnosť ľudskej existencie, a tak, prirodzene, pociťujú smerom k smrti onú sartróvskú absurditu ľudského života: „Povedzte, aký má zmysel toto všetko naše

trápenie a vrsovanie, toto naše zúfanie a úfanie, prekladanie ťarchy z pleca na plece?“ (Tatarka, 1963b, s. 291); „Načo som tu? Čože tu chcem?“ (Tatarka, 1963b, s. 209); „Načo bolo všetko naše trápenie?“ (Tatarka, 1963b, s. 287); „Celý život sa mi len cnelo...“ (Tatarka, 1963b, s. 248); „Raz ťa všetko opustí, doznie, zatíchnie. Chystáš sa na najhoršie, ale taká obyčajná vec ťa zaskočí ako smrť, lebo tej práve sa nikdy nenadeješ, tá ťa vždycky najviac zdrví...“ (Tatarka, 1963b, s. 283).

Schému tejto línie teda možno zaznamenať takto:

*neakceptácia „Boha“ – človek je človeku zmyslom (nie  
transcendentná poloha lásky, ale ľudská) – neústenie  
v Absolútne – absurdita a nezmyselnosť ľudského života.*

### **c) Implicitná marcelovská línia (*Prútené kreslá*)**

V uvedenej línii Boh nie je explicitne vyjadrený. Faktom však ostáva, že o transcendentnú polohu lásky (čistý dyadický vzťah „Ja“ k „Ty“), cez ktorú sa Boh v človeku zviditeľňuje (necháva cítiť) a ktorou človek presahuje vlastnú psychofyziologickú fakticitu v mene niečoho vyššieho a zároveň vďaka ktorej dostáva ľudská existencia zmysel, pokračovateľnosť, opodstatnenosť, sa Tatarka v románovej novelke usiluje. Potvrďuje to aj výrok M. Hamadu, ktorý skonštatoval, že Tatarka v diele vykonal fenomenologickú redukciu lásky (pozri Tatarka, 1990, s. 112).

Človek pre človeka je tu marcelovským zmyslom ľudskej existencie. Ľudia sú vo všeobecnosti to, čo „dýchame ako povetrie, v čom plávame ako ryba vo vode“ (Tatarka, 1990, s. 40); „Pre mňa si tým, čím azda i ja pre teba. Láskavosťou života, ktorú nevedomky berieme, dýchame ako povetrie“ (Tatarka, 1990, s. 9). V tomto diele sa Tatarka prvý raz najtesnejšie približuje k onej transcendentnej láske (najdominantnejšie ju vykresľuje na mužsko-ženskej platforme – Bartolomej a Daniela), ktorá v marcelovskom poňatí ústi do Absolútna/Boha. Je to láska nepodmienená vonkajšími determinantmi: „Na ženu, ktorá mi je blízka, nemusím predsa hľadiet, či je pekná a či aká, ani jej natískať do očí svoju fasádu“ (Tatarka, 1990, s. 51), nepodmienená pudmi: „Daniele som sa nedvoril, nepokúšal som sa vyznávať jej lásku, nebadane odbočiť s ňou do tmavého parku, chytať ju za ruku alebo sa s ňou bozkávať, tým menej ju zväzdať, aby mi bola milenkou... to jej nebolo dosť vážne... a vôbec dosť...“ (Tatarka, 1990, s. 51), založená (presne ako u G. Marcela) na komunikácii a počúvaní: „Na všetkom je ona, ona. Ona je povetrie, ktoré dýcham. Naberám ju do seba, kúpem sa v nej ako zátka v dobrom víne a najradšej počúvam jej hlas“ (Tatarka, 1990, s. 51).

Takáto láska dodáva textu atmosféru nádeje a v tomto diele je už implicitne naznačené aj ono marcelovské intersubjektívne, transcendentné prestupovanie ľudských subjektov: „... čoho sa dotkla, to mi bolo všetko známe, povedomé, moje, to som bol ja a to bola Daniela...“ (Tatarka, 1990, s. 48). Dokonca (presne v duchu G. Marcela) je tu naznačené aj pretrvávajúce transcendentnej lásky bez koncov, pretože aj napriek tomu, že sa cesty hrdinov rozchádzajú, ostáva Daniela v Bartolomejovi navždy prítomná: „Keď nocujem po hoteloch a započúvam sa do prázdnoty, to ju počúvam...“ (Tatarka, 1990, s. 105). Vyústenie do Absolútna však už nie je v knihe explicitne vypovedané, a aj keď niečo podstatné naznačuje ono pretrvávajúce „Ja“ v „Ty“ bez koncov či výroky ako „Slovo do diaľky povedané (smerom k niečomu väčšiemu/transcendentnému, pozn. M. A.) celkom ináč toho druhého rozochvieva ako slovo povedané do stola alebo do tváre“ (Tatarka, 1990, s. 105), možno ho vidieť len v potencialite. Faktom však ostáva, že nech už je vyústenie do Absolútna v texte prítomné viac či menej, transcendentný medziľudský vzťah (čistý dyadický vzťah „Ja“ k „Ty“), o ktorý sa Tatarka v *Prútených kreslách* usiloval a ktorý korešponduje s láskou u G. Marcela, dáva ľudskej existencii (oproti novelám *Kohútik v agónii* a *Ešte s vami pobudnúť*) nádej, zmysel a opodstatnenie.

*Prútené kreslá* sú teda tou knihou, ktorá napriek zložitosti ľudského života (z diela evidentnej) ako prvá z doteraz spomínaných vyjavuje nádejnosť a opodstatnenosť jestvovania. Trochu preexponovane povedané (slovami Tatarku), vyjadruje vieru v raj (raj v láske). Existencialistickú cudzotu, hnus tu teda eliminuje láska: „Daniela je mi všetkým. Keby tu nebola, bol by som tu cudzincom“ (Tatarka, 1990, s. 78), a aj keď je dosahovanie jej transcendentnej polohy zložitá, „v láske je náš raj, jediný raj... lenže my nevieme doň vstúpiť... sami sa z neho vyháňame“ (Tatarka, 1990, s. 9), navzdory tomu tu táto možnosť je – „áno veľká láska existuje, i manželská veľká láska existuje“ (Tatarka, 1990, s. 105) – a človek sa vždy môže v nádeji o ňu usilovať.

Schéma tejto línie je:

*Boh explicitne nevypovedaný – človek je človeku zmyslom  
(transcendentná poloha lásky) – potenciálne vyústenie  
v Absolútno – nádej a opodstatnenosť ľudského života.*

#### **d) Explicitná marcelovská línia (Písачky pre milovanú Lutáciu)**

V uvedenej línii sa explicitne završuje filozofia G. Marcela. Boh v tom diele je explicitne prijatý a vnímaný nie ako niekto mimo človeka, ale v človeku; s ním sa cez seba a v spojení s ďalším ľudským subjektom prestupujeme: „Boh je, a prejavuje sa to Božím požehnaním, semenom, plodnosťou, vedomím, že

sa nám dostáva čohosi, sily a odhodlania byť sebou, stáť na svojom, svojho Boha počúvať, počúvať jeho nutkanie v sebe. Náš Boh pastierov a roľníkov neodsudzuje nás vopred k slobode ani otroctvu, malosti, bezduchej masovosti. Náš pastiersky Boh nás v jednom čase požehnáva plodnosťou, slobodou, hudbou, tvorbou..." (Tatarka, 1999, s. 253).

Čo sa týka medziľudských vzťahov, Tatarka veľmi racionálne a pragmaticky vyjavuje dve polohy lásky – 1. nevyváženú, egoistickú, pudovú, biologickú lásku: „Láska zotročuje, láska je zločin“ (Tatarka, 1999, s. 238); „... je to chorobná, metafyzická žiarlivosť... na to, že vôbec si, lebo keby si nebola (Natália, poznámka M. A.), ja, Slzička, netrpiť takto, táto temnota sa vo mne neotvorí, neprečítam si tvoju pohľadnicu inému..." (Tatarka, 1999, s. 167); „... rástol mi a tvrdol úd ako žrebcovi, ako mladému milencovi, ktorý celý ten čas vniká do svojej žeravej milenky, soptiacej zo seba oheň a krik, ktorá sa zmršťuje a dlži, vťahujúc ma do seba zvonku, kľže sa po mne..." (Tatarka, 1999, s. 186), pričom tieto polohy prerušujú pasáže o 2. hlbokom transcendentnom rozmere lásky, pretože vášeň môže byť aj vášňou po človeku ako takom – vášňou „splývania so všetkým, dušou, duše, nie iba telesného, chvíľkového spojenia“ (Tatarka, 1999, s. 171), lebo ženské lono nie je len symbolom sexuálneho aktu, ale aj oslavou ľudského života: „... tajomný je život, brucho ženy, tajomné je jej lono, odkiaľ na-žijúc dobrotou materského tela, z polohy a podoby zvinutého koláča museli sme sa vystrieť a vyraziť narovnaní“ (Tatarka, 1999, s. 12). Túžime totiž po niečom väčšom, hlbšom a dokonalejšom ako len po eroticko-pudovom „intermezze“: „S mužmi, ktorých si mala, ktorým si sa dala, robili ste si zo seba sexuálne či erotické objekty... prijala si ich hlúpy reflex: že žena a muž musia čosi spolu vystrájať“ (Tatarka, 1999, s. 26, s. 180). Táto podvojnosť však s ohľadom na to, že človek je symbiózou telesného a duchovného, dáva (oproti *Prúteným kreslám*) dielu pragmaticko-realistickejší (zároveň naturalistickejší) rozmer.

Napriek evidentným dvom polohám lásky Tatarka do popredia kladie transcendentnú lásku (lebo ona, ako naznačuje aj nižšie uvedený citát, keďže je založená na komunikácii, porozumení, je tá „vrchná“ a cez ňu a v nej sa človek presahuje smerom k „vyššiemu“) a zmysel života vidí v ľudskom spájaní sa a (v tomto diele už aj v explicitne vypovedanom – na rozdiel od *Prútených kresiel*) presahu do Absolútneho. A tak ako G. Marcel poznámenáva, že Absolútno/Boha môžeme „nejlépe vidieť v lásce..., tajemství duše a těla můžeme pochopit, jedině vyjdeme-li z lásky, která je v jistém smyslu jeho výrazem (myslí sa tým výrazom Boha/Absolútne/Tajomstva, poznámka M. A.)“ (Marcel, 1971, s. 16), D. Tatarka konštatuje: „V milování – neslovnej spodnej reči, ak slovná reč je tá vrchná, deje sa svet od stvorenia, genéza sveta, vývin sveta sa deje a prežíva. Že v našom tele je pamäť ľudstva, tvorstva.

A tú pamäť nič, nič, ani smrť nepretŕha. Nezačíname sa od včerajška ani od svojho zrodu. Začíname sa tajomstvom... keby sme ho prestali počúvať, keby sme ho raz prestali uctievať, naše životy zovšednejú, stratíme sa v histórii“ (Tatarka, 1999, s. 99, s. 162).

Ľudská existencia teda pretrváva bez koncov, bez začiatkov v „niečom“ vyššom (v Bohu/Tajomstve – v absolútnej/transcendentnej láske). Napriek úzkosti a depresii, zaznamenaným v texte, sú však *Písačky* knihou nádeje. Svedčí o tom napokon aj motív samovraždy. Kým napríklad v debute *V úzkosti hľadania* Václav Turek (novela *Ľudia za priečkou*; Tatarka, 1997, s. 97) skáče pod vlak, čo implikuje sartróvsku ničím a nikým neobmedzenú slobodu, a teda aj možnosť voliť si smrť namiesto absurdného života, tu Tatarka vyhlasuje toto: „Vybuchujú okolo mňa postupne samovraždy mojich priateľov... pravdaže, nemusím tu byť, ale, ale, ale. Keďže tu zostávam toľké roky po tebe (myslí tým po svojej matke, poznámka M. A.), nachodím predsa čosi, stále. Dostáva sa mi čosi navyše... Mali ma vtedy skosiť ako slobodného občana tejto republiky, ale keďže ma neskosili, teraz sme spolu pri jednom stole. S Vami Kosíku, Bartošku, s Tvojou Suzanne Francúzskou, s Tebou, ženou, s Vami, pán profesor Václav Černý. Vaša spoločnosť ma povznáša“ (Tatarka, 1999, s. 253). Uvedené potvrdzuje vyššie spomínanú opodstatnenosť jestvovania (a to v symbióze s vierou v človeka a Boha) a aj zmysel všetkého prežívaného. Teda *Písačky* sú knihou nádeje, no ako sme už naznačili, márne budeme hľadať v diele patetické šťastie, príval povrchných optimistických pocitov. Takou knihou nie sú a takou nie je ani filozofia G. Marcela (to by sme neboli pri existencializme). O čo tu ide, je nádej do života, viera v jeho opodstatnenosť, zmyslovosť, večnosť, v jeho presah smerom niekde „vyššie“. S týmto vedomím aj deštruktívne situácie, ktoré hrdina (autor) v texte prežíva – odňatie pasu, administratívne väzenie, psychický nátlak, existenčné problémy, nevyrovnaná láska –, sú dôvodom pre život.

Schéma tejto línie je v symbióze so schémou G. Marcela: *viera v Boha/ Absolútne – človek je človeku zmyslom (transcendentná poloha lásky) – vyústenie v Absolútne – nádej a opodstatnenosť ľudského života*.

V závere možno skonštatovať, že, ako vyplýva z uvedeného, existencialistické atribúty sú v spomínaných Tatarkových dielach zjavné (antropocentrizmus, pravá verus nepravá existencia, smrť, prežívanie existencialistických nálad, prvky existencialistickej štylistiky). A čo sa týka teisticko-ateistického spádu, Tatarka prežil s akousi viac-menej všeobecnou prirodzenosťou etapu mladíckej skepsy až po ono rozvážne, empiriou a vyzretou múdrosťou získané vyrovnanie sa so životom – od absurdity života a medziludskej vzdialenosti (*V úzkosti hľadania, Farská republika*) cez bytostnú túžbu pobudnúť pri



človeku a nechať sa „liečiť“ jeho potenciou láskavosti, nehy, opory (*Kohútik v agónii*, *Ešte s vami pobudnúť*), pokračujúc potrebou nájsť v medziľudskej korelácii niečo skutočné/stále, nezaťažený, neegoistický, fenomenologický rozmer lásky (*Prútené kreslá*), až po vyústenie onej transcendentnej polohy lásky v transcendentné osebe/v Boha (*Písačky pre milovanú Lutéciu*). A teda filozofiu J.-P. Sartra veľmi postupne, systematicky v Tatarkovom diele „vytláča“ filozofia nádeje G. Marcela, ktorá naplno vyvrcholila v *Písačkách pre milovanú Lutéciu*, v diele z pera vyzretého, životnými krízami poznačeného muža, ktorý, účtujúci s prežitým, vo vrcholiacej fáze svojho života hovorí životu a Bohu ÁNO.

### POZNÁMKY

- <sup>1</sup> Do okruhu skúmaných diel sme nezaradili *Pannu zázračnicu*, *Démona súhlasu* a diela poplatné socialistickému realizmu (*Prvý a druhý úder*, *Radostník*, *Družné letá*), pretože ide o texty inej povahy a pre svoju špecifickosť si vyžadujú osobitný prístup.
- <sup>2</sup> Ako je všeobecne známe, texty *Písačiek* vychádzali Tatarkovi už v 80. rokoch 20. storočia v zahraničí. V uvedenom príspevku však pracujeme s verziou, ktorá vyšla na Slovensku v roku 1999. Zároveň na danom mieste upozorňujeme, že v texte z textologického hľadiska pracujeme s legitímnymi, spoločensky fungujúcimi a dostupnými vydaniaми spisovateľových diel: *V úzkosti hľadania* (1997), *Farská republika* (1963), *Prútené kreslá* (1990), *Písačky pre milovanú Lutéciu* (1999). Pri novelách *Kohútik v agónii* a *Ešte s vami pobudnúť*, ktoré vyšli pod spoločným názvom *Rozhovory bez konca* v roku 1959, pracujeme s vydaním z roku 1963, v ktorom vyšli ako súčasť zbierky *V úzkosti hľadania*, pretože exaktné (kritické) vydanie Tatarkových diel (aj s ohľadom na fakt, že doteraz nie sú niektoré autorove texty vôbec sprístupnené), ktoré by určilo najautentickejší variant diel, nebolo uskutočnené. A teda v tomto čase je akákoľvek úvaha o správnejšej či nesprávnejšej verzii podľa nás irelevantná.
- <sup>3</sup> Komplexnejšie poznanie o existencializme sa na Slovensko dostalo vďaka analytickej štúdii M. Varossa *Pohľad na súčasnú filozofiu*, publikovanej vo *Philosophica Slovaca* v rokoch 1945 – 1947, a Felixovej štúdii *Neužitočné ústa – typ novej drámy*, napísanej v roku 1947 pri príležitosti uvedenia rovnomennej hry S. de Beauvoirovej na scéne Národného divadla (pozri: Kopčok, 1998, s. 244).
- <sup>4</sup> Za predchodcu existencializmu ho označuje Störig (1993, s. 430), ba dokonca to podotkol aj sám Sartre: „Dostojevskij napsal: ‚Jestliže Bůh není, pak vše je dovoleno.‘ To je výchozí bod existencialismu“ (Sartre, 2004, s. 23).



- <sup>5</sup> Uvedený problém existencializmu pred existencializmom, vzťah filozofie a literatúry, potenciú zblížovania filozofie existencializmu a literatúry podrobne rozoberáme v monografii *Dominik Tatarka v kontexte existencializmu* (Antošová, 2011) v kapitolách *Medzi literatúrou a filozofiou* a *Spisovateľ a filozof Dominik Tatarka*. V tomto príspevku sme sa uvedenej zložitej problematiky dotkli len veľmi okrajovo, pretože nie je predmetom štúdie.
- <sup>6</sup> Zároveň upozorňujeme, že štúdia je nadstavbovým výstupom (sumarizáciou), ktorému predchádzajú podrobnejšie analýzy a zistenia usúvzťažnené v našej monografii *Dominik Tatarka v kontexte existencializmu* (Antošová, 2011). Pre prípadné minucióznejšie deklarovanie tu sformulovaného pozri uvedený zdroj.
- <sup>7</sup> Pri určení základných konštant existencializmu sme vychádzali z filozofických a literárnovedných usúvzťažnení filozofie existencializmu a existencializmu v literatúre, napr. Vlašín, 1976; Leško 1993; Janke, 1995; Černý, 1992 a z konkrétnych filozofických (aj literárnych) diel existencialistov, konkrétne J.-P. Sartra a G. Marcela, napr.: Marcel, 1971; Sartre, 2006; Sartre, 2004; Sartre, 1966 atď. Na uvedených filozofoch sme sa zamerali s ohľadom na ich vyššie spomínané priame spojitosti s Dominikom Tatarkom, ale aj preto, že ich považujeme za kľúčové postavy francúzskeho existencializmu.
- <sup>8</sup> Tatarka, 1997, s. 8. Zároveň upozorňujeme, že všetky ostatné citácie týkajúce sa zbierky próz *V úzkosti hľadania* budú citované práve z tohto vydania.
- <sup>9</sup> Sám J.-P. Sartre nazýva svoje učenie optimistickým (napriek tomu, že nepopiera fakt jeho tvrdosti), a to v tom zmysle, že človek môže v neobmedzenej slobode (čo je jediný determinant ľudskej existencie) čokoľvek. Pozri: Sartre, J.-P.: *Existencializmus je humanizmus*, 2004, s. 36.
- <sup>10</sup> O učení filozofov pozri viac napr.: Marcel, 1971; Sartre, 2004; Sartre, 2006; Janke, 1995.
- <sup>11</sup> Pozri Marcel, 1971; Janke, 1995.

## LITERATÚRA

- ABRAHAMOWICZ, D. a kol.: *Ešte s vami pobudnúť – spomínanie na Dominika Tatarku*. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 1994. 144 s. ISBN 80-967156-2-3.
- ANTOŠOVÁ, M.: *Dominik Tatarka v kontexte existencializmu*. Nitra: FF UKF, 2011. 158 s. ISBN 978-80-8094-622-7.
- ANTOŠOVÁ, M.: *Dielo Dominika Tatarku pohľadom súdobej kritiky*. Rigorózna práca. Nitra: UKF, 2003. 89 s.
- BOMBÍKOVÁ, P.: *Nové formulovanie spisovateľa a spisovateľskej práce v rokoch 1946 – 1956. Prípad Dominika Tatarku*. In: *Slovenská literatúra*, 2000, 47, 2, s. 100 – 118. Bez ISSN.
- BOMBÍKOVÁ, P.: *Tatarkova raná novelistika*. In: *Slovenská literatúra*, 1997, 44, 3, s. 188 – 199. Bez ISSN.
- ČERNÝ, V.: *První a druhý sešit o existencialismu*. Praha: Mladá fronta, 1992. 152 s. ISBN 80-204-0337-X.

- HAMADA, M.: *Tatarkova koncepcia kultúry*. In: Slovenská literatúra. 1993, 40, 2 – 3, s. 81 – 91. Bez ISSN.
- JANČOVIČ, I.: *Dominik Tatarka a jeho dielo v premenách času*. Banská Bystrica: Metodické centrum Banská Bystrica, 1996. 52 s. ISBN 80-8041-121-2.
- JANČOVIČ, I.: *Prozaické začiatky Dominika Tatarku*. In: Romboid, 1997, 32, 8, s. 3 – 12. ISSN 0231-6714.
- JANKE, W.: *Filosofie existence*. Praha: Mladá fronta, 1995. 247 s. ISBN 80-204-0510-0.
- KICZKO, L. a kol.: *Malá antológia z diel filozofov II*. Bratislava: SPN, 1998. 222 s. ISBN 80-08-01825-9.
- KOPČOK, A. a kol.: *Dejiny slovenskej filozofie na Slovensku v 20. storočí*. Bratislava: SAV, 1998. 486 s. ISBN 80-85402-32-7.
- LEŠKO, V. a kol.: *Dejiny filozofie*. Bratislava: IRIS, 1993. 355 s. ISBN 80-967013-3-9.
- MARCEL, G.: *K filozofii nádeje*. Praha: Vyšehrad, 1971. 137 s. Bez ISSN.
- PETRÍK, V.: *Dominik Tatarka odišiel a zostáva*. In: Romboid, 1989, 24, 7, s. 78. Bez ISSN.
- PETRÍK, V.: *Vzťah muža a ženy v Tatarkovom diele*. In: Romboid, 1992, 27, 3, s. 4. Bez ISSN.
- PRUŠKOVÁ, Z.: *O zmysle a funkciách interpersonálnych situácií v diele Dominika Tatarku*. In: Slovenská literatúra, 1993, 40, 2 – 3, s. 108 – 111. Bez ISSN.
- ROSENBAUM, K. a kol.: *Dejiny slovenskej literatúry V*. Bratislava: SAV, 1984. Bez ISSN.
- SARTRE, J.-P.: *Bytí a nicota*. Praha: Oikoymenth, 2006. 718 s. ISBN 80-7298-097-1.
- SARTRE, J.-P.: *Existencialismus je humanismus*. Praha: Vyšehrad, 2004. 112 s. ISBN 80-7021-661-1.
- SARTRE, J.-P.: *Múr*. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1966. 237 s. Bez ISSN.
- SARTRE, J.-P.: *Múr*. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2009. 192 s. ISBN 978-80-8061-366-2.
- STÖRIG, H. J.: *Malé dejiny filozofie*. Praha: Zvon, 1993. 560 s. ISBN 80-7113-058-3.
- ŠTEVČEK, J.: *Dejiny slovenského románu*. Bratislava: Tatran, 1989. 623 s. Bez ISSN.
- ŠTOLBOVÁ, E.: *Navrávačky s Dominikom Tatarkom*. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2000. 328 s. ISBN 80-88878-63-2.
- TATARKA, D.: *Farská republika*. Bratislava: Smena, 1963a. 307 s. Bez ISSN.
- TATARKA, D.: *Niekoľko ohlasov o avantgarde*. In: Slovenské pohľady, 1965, 81, 10, 10, s. 51 – 52. Bez ISSN.
- TATARKA, D.: *Proti démonom*. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1968. 438 s. Bez ISSN.
- TATARKA, D.: *Prútené kreslá*. Bratislava: Smena, 1990. 117 s. Bez ISSN.
- TATARKA, D.: *Písачky pre milovanú Lutéciu*. Praha: Labyrint, 1999. 280 s. ISBN 80-85935-14-7.
- TATARKA, D.: *V úzkosti hľadania (Kohútik v agónii a Ešte s vami pobudnúť)*. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1963b. 304 s. Bez ISSN.
- TATARKA, D.: *V úzkosti hľadania*. Liptovský Mikuláš: Transcius, 1997. 195 s. ISBN 80-7140-115-3.
- VLAŠÍN, Š. a kol.: *Slovník literární teorie*. Praha: Československý spisovatel, 1984. 468 s. Bez ISSN.
- VLAŠÍN, Š. a kol.: *Slovník literárních směrů a skupin*. Praha: Orbis, 1976. 368 s. Bez ISSN.

## SKUTKY SVATÝCH APOŠTOLŮ

Zdeňka Matyušová

### ACTS OF SAINT APOSTLES

**Abstract:** The essay submitted deals with an old-Russian manuscript, which played a significant role in the development of Russian literature. It is a religious publication with the title Acts of Saint Apostles – Apostle, which contains a collection of extracts from the New Testament. Great attention is dedicated to the exploration of the language as a means of communication. This book is the first Russian printed book dated and it was published in the printing works owned by the Russian book printer Ivan Fjodorov in 1564. Soon, it will have been 450 years since it was published.

**Key words:** Russian Literature; Original Old-Russian manuscript; Apostle; The Slavs; Christian art; New Testament.



Předložená studie je úvahou o jednom originálním staroruském rukopisu, který sehrál důležitou a nepřehlédnutelnou úlohu ve vývoji ruského písemnictví. Jedná se o náboženskou knihu s názvem *Skutky apoštolů – Apostol* (orig. Деяния и послания апостольские – Апостол, 1564), od jejíhož vydání tedy uplyne právě 450 let.

Od roku 1909 stojí v centru Moskvy bronzová socha prvního ruského knihtiskaře Ivana Fjodorova (pravděpodobně 1510 – 1583). Byl to významný člověk, který celý život zasvětil práci a až doposud, byť odlitý z bronzu, je plně prací zaujat. Prohlíží si právě vytištěný list nového slovansko-ruského

spisu a nejpravděpodobněji drží v rukou stránku první ruské datované tištěné knihy.

Ruský literární historik A. S. Orlov „obratil внимание на то, что в XVI веке русская культура идет по пути создания крупных обобщающих предприятий. К ним А. С. Орлов отнёс знаменитый *Стоглав*, а также *Домострой*, *Лицевой летописный свод* Грозного, *Великие минеи четы* митрополита Макария, *Степенную книгу*, даже начало книгопечатания и создание первопечатного *Апостола* (Лихачёв, 1973, с. 133).

Prvního března roku 1564 byl dokončen výtisk rozsáhlého foliantu – *Činy apoštolské, epištoly církevní, poselství svatého apoštola Pavla* – známé spíše pod názvem *Skutky apoštolů či Skutkové svatých apoštolů* neboli *Apostol*. V Moskvě již předtím vycházely tištěné knihy, ale doba jejich vydání se v nich neuváděla a není tudíž známa. O to cennější je doslov či dodatek v knize *Apostol* – je v něm uveden nejen rok a den, kdy byla kniha vydána, ale je zde zaznamenán i průběh stavby a založení tiskárny v Moskvě. „Печатная книга должна была удовлетворять растущие запросы школьного обучения, содействовать введению единых языковых и орфографических норм. При помощи небогатых мещан Иван Федоров основал типографию во Львове, где в 1574 году выпустил Апостол...” (Благой, 1958, с. 214 – 215).

Uvádí se, že předpokládaný náklad knihy byl mezi jedním až dvěma tisíci kusů a do současnosti se dochovalo přibližně padesát až šedesát exemplářů.

Velký car a kníže celé Rusi Ivan Vasiljevič, kterému přezdívali Hrozný, se – v souladu s dodatkem – trápil tím, že rukopisné knihy hojně rozšířené v celé zemi, jsou, obrazně řečeno, prohnílé a zkažené řadou chyb, které se nahromadily za léta přepisování a úprav. Proto Ivan IV. usiloval o jednotnou jazykovou a pravopisnou správnost ruských bohoslužebných knih i církevních spisů.

Společně s jedním z nejvzdělanějších mužů té doby metropolitou Makarijem vyhledával mistry tiskaře a rozhodl, že na náklady carské pokladny bude postaven dům, v němž se zařídí tiskárna. V doslovu se hovoří o nemalých státních výdajích na rozvoj tiskařství, což dokazuje carovu i metropolitovu jasnozřivost – výdaje na osvětu a vzdělání se mnohonásobně vracejí a vyplácejí.

V knize se uvádějí jména dvou mistrů-tiskařů: Ivana Fjodorova a Petra Timofejeva Mstislavce (rok narození není znám – zemřel kolem roku 1580). Právem jsou považováni za zakladatele knihtisku u východních Slovanů a jsou to právě oni, kteří vydali knihu *Apostol* „ <...> ко очищению и ко исправлению ненаученых и неискусных в разуме книгописцев” (Кусков, 1977, с. 182).

Knihtisk byl v Moskvě zaveden proto, aby nahradil knihy s mnoha chybami, nesprávnostmi a nepřesnostmi. To se podařilo, neboť tištěné knihy skutečně napomáhaly unifikaci literárního jazyka, upevnění jeho norem, následně pak zvýšení gramotnosti a celkové úrovně lidového vzdělání. Je nespornou zásluhou tištěné knihy, že se v Rusku vytvořil jednotný vysoce vyvinutý literární jazyk, kterým je možno obsáhnout a vyjádřit nejjemnější odstíny myšlenek a který je současně vynikajícím základem slovesného umění.

„Выбор *Апостола* для первого издания государственной типографии был неслучаен: *Апостол* в Древней Руси использовался для обучения духовенства. В нём заключены первые образцы толкования учениками Христа Святого Писания и он был отредактирован при участии митрополита Макария. В полиграфическом смысле *Апостол* Ивана Фёдорова выполнен на более высоком профессиональном уровне“ (viz <http://www.lvov.lubov-k.ru/apostol-fedorova/>).

Ivan Fjodorov se k *Apostolu* vrátil celkem třikrát. Po vytištění moskevské knihy v roce 1564 a nedlouho před smrtí ho vydal i jako součást vynikající *Ostrožské bible* (orig. *Острожская библия*, 1580 – 1581). Jak bylo již uvedeno, kniha byla potřebná, šla na odbyt, šířila se mezi lidem, byla populární a hojně se četla. Logicky tedy vzniká otázka: Proč tomu tak bylo? Co je to vůbec za knihu? Při jejím výkladu se objevuje určitý stereotyp – *Apostolem* jsou všichni nadšeni, hodně se hovoří a píše o vysoké kvalitě sazby, pečlivosti korektur nebo o vytříbenosti písmového vzoru. Zní to sice poněkud paradoxně, ale o obsahových kvalitách díla se nikdo nezmiňuje.

„Вместе с тем *Апостол* Фёдорова не был лишен незначительных недостатков. Была, к примеру, немного запутана нумерация страниц... Из 268 страниц *Апостола* нумерированными являются только 262 (кириллическими буквами). И 6 страниц Фёдоров оставил не-нумерированными“ (viz <http://elcode-blog.ru/>).

Pod názvem *Apostol* se skrývá část souboru knih *Nového zákona*. Vypráví se v něm jednak o činech apoštolů, žáků Kristových, o skutcích, které konali po mučednické smrti svého učitele, jednak obsahuje „literární tvorbu“ – epištoly (апостольские послания) samotných apoštolů Jakuba, Petra, Jana, Jidáše a Pavla. Jedná se celkem o dvacet jedna apoštolských poselství.

Stručně řečeno – v *Apostolu* je vyložena a vysvětlena podstata křesťanské věrouky, včetně světonázorových představ, mravních základů a morálních zásad. Kromě toho je dílo psáno poetickou prózou a v některých částech dokonce i veršem. Proto *Apostol* čtenáře nejenom učil a vzdělával, ale formoval a kultivoval i jejich umělecký vkus a cit pro krásno. Ornamenty, které provázejí celou knihu, jí přidávají na lehkosti a vzdušnosti, napomáhají

pochopení textu, poutají pozornost čtenáře a podporují jeho soustředěnost. Nádherná až velkolepá zobrazení čtyřiceti osmi záhlavních kreseb, dvacet dva barevně vykreslených počátečních písmen neboli iniciálek, dvacet čtyři krajkově propletených obloukových vazeb – toto všechno dodává celému *Apostolu* harmonickou vytríbenost, vybroušenost a dokonalost.

Je samozřejmé, že *Apostol* jako náboženská kniha vypráví o mravních normách a chování lidí, o morálních principech, které mají všelidský a nadčasový význam. Četbou a studiem *Apostolu* bylo možno dosáhnout harmonicky uceleného světového názoru a etická přikázání (заповеди) učila dobrotě, milosrdenství, skromnosti, věrnosti a oddanosti. Toto vše bylo dostupné i negramotným lidem, protože křesťanská liturgie umožňovala čtení textů nahlas, a tak se každý den předčítal určitý úryvek.

„Строгие пропорции *Апостола*, логичная продуманность построения книги, великолепное художественное оформление – всё это выдаёт превосходного мастера, не просто ремесленника, но человека большого таланта и незаурядного ума, замечательного художника. <...> Замечательным в книге Фёдорова является и то, что она дополнена послесловием, в котором рассказано о задачах и целях книгопечатания на Руси. Автор послесловия, несомненно, был хорошим литератором – весь текст выдержан в безупречном художественном стиле. Не исключено, что писал его сам Иван Фёдоров“ (viz <http://moscow.clow.ru/information/rext/notes/033-1.html>).

Jinými slovy – *Apostol* společně s *Evangeliem* (Евангелие) a *Žaltářem* (Псалтырь) byl na Rusi dokonale znám a formoval duchovní svět tehdejšího člověka. Je obdivuhodné, s jakou silou a trpělivostí učila tato kniha zapamatovávat si a uchovávat ve vědomí a paměti čtenářů zásady a normy spolužití, které vykořeňují krutost a násilí a vedou k lásce k člověku. Stejně naléhavě zdůrazňuje myšlenku o bezpodmínečné rovnosti všech lidí – „<...> není ani Žid, ani Řek, není ani muž, ani žena – neboť všichni jste jako jeden“.

Knihou učí nejen lásku k přátelům, bližním, ale i k nepřátelům – „Jestliže má tvůj nepřítel hlad, uhosti ho chlebem. Jestliže má žízeň, dej mu napít“. Jako všeobecná mravní zásada se zdůrazňuje – „nebuď poražen zlem, ale usiluj o to, abys dobrem nad zlem zvítězil <...>“.

V *Apostolu* se mluví nejen o ctnostech, ale rovněž o nedostacích a špatných vlastnostech. Pojmenovat je znamená poznat ho a jestliže neoznačíme a nepojmenujeme zlovyk, pak ho ani nemůžeme odstranit. Z tohoto důvodu jsou v epištolách uvedeny dlouhé seznamy mravních vad a kazů lidstva – „<...> nečistota, zuřivost, hádky, závist, vraždy, opilství, smilstvo, pomluvy <...>“.



Neobyčejná pozornost je věnována i několika pojednáním o jazyku jako dorozumívacím prostředku. Křesťané jsou vyzýváni k tomu, aby své myšlenky vyjadřovali jasně a přesně tak, aby byly smysluplné, srozumitelné a pochopitelné. „Jestliže pronášíte nesrozumitelná slova, jak se pozná, co chcete říci? Kolik různých slov je na světě a každé má svůj význam! Pokud nerozumím významu a obsahu slov, stávám se pro mluvčího cizincem a on je jím pro mne taktéž“.

Tvůrci této pozoruhodné knihy považují za nejvyšší ctnost lásku – duchovní, altruistickou, oddanou, bezelstnou. V *Apostolu* najdeme tento chvalozpěv na lásku – „Jestliže mám dar prorocství a znám všechna jeho tajemství, a mám všelijaké poznatky a celou víru, takovou, že mohu hory přenášet, ale nemám lásku – pak nejsem nic! A jestliže rozdám všechen majetek a své tělo dám spálit, ale lásku nemám, nemám z toho žádný prospěch <...>“.

Prostřednictvím těchto a podobných textů, které si i v překladech uchovávají uměleckou hodnotu, poznávali Slované křesťanské umění, nadšeně ho obdivovali, pěstovali a rozvíjeli svůj cit a vkus. Když Ivan Fjodorov hovořil o hodnotách *Apostolu*, ne náhodou ho označil za knihu „apoštolskou“, knihu „prospěšnou duši“.<sup>1</sup>

## POZNÁMKY

- <sup>1</sup> Citované úryvky z textu *Apostolu* – In: <http://www.spsl.nsc.ru/rbook/> – přeložila a upravila autorka článku.
- <sup>2</sup> Doprovodné ilustrace k textu jsou dostupné na internetu – viz <http://images.yandex.ru/> a v archivu autorky.

## LITERATURA

- БЛАГОЙ, Д. Д.: *История русской литературы в трёх томах*. Том I. Москва: Издательство Академии наук, 1958. 730 с. Bez ISBN.
- ДИАНОВА, Т. В.: *Книжная сокровищница Государственного исторического музея*. Москва: Государственный исторический музей, 1988. 46 с. Bez ISBN.
- ДИАНОВА, Т. В.: *Филиграни XVII в. по рукописным источникам ГИИМ*. Москва: Государственный исторический музей, 1988. 246 с. Bez ISBN.
- ДИАНОВА, Т. В.: *Филиграни XVII – XVIII вв.* Москва: Государственный исторический музей, 1997. 165 с. ISBN 5-89076-005-X.
- КУКУШКИНА, М. В.: *Монастырские библиотеки русского Севера*. Ленинград: Наука, 1977. 221 с. Bez ISBN.
- КУСКОВ, В. В.: *История древнерусской литературы*. Москва: «Высшая школа», 1977. 247 с. Bez ISBN.
- ЛИХАЧЕВ, Д. С.: *История русской литературы X – XVII веков*. Москва: Просвещение, 1980. 461 с. Bez ISBN.



MATYUŠOVÁ, Z.: *Apostol – kniha a doba*. In: Čtenář, 1996, 48, 4, s. 130 – 131. ISSN 0011-2321.

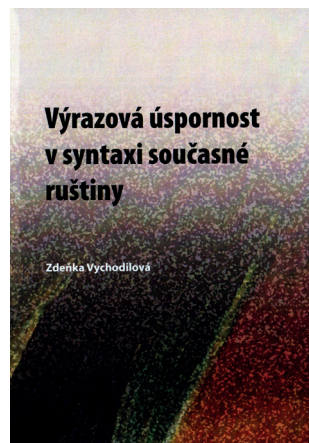
РЫБАКОВ, Б. А.: *М. Н. Тихомиров и летописеведение*. Москва: Наука, 1976. 357 с. Bez ISBN.

ТИХОМИРОВ, М. Н.: *Начало московского книгопечатания*. Учёные записки Московского университета. Вып. 41. Москва: Соцекгиз, 1940. 451 с. Bez ISBN.

ФЕДОРОВ, И.: *Апостол*. Dostupné na internetu – <http://www.spsl.nsc.ru/rbook/>



VYCHODILOVÁ, Z.: *Výrazová úspornost v syntaxi současné ruštiny*. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2011. 178 s. ISBN 978-80-244-2886-4.



Témou monografie je tzv. neexplicitné vyjadrovanie. Autorka sa tak začlenila do nemalej skupiny lingvistov skúmajúcich prostriedky ekonomizácie prejavu a úspornosti štylizácie, ako aj pravidlá vyplývajúce zo zákonitostí textovej výstavby. (Tieto pravidlá sformuloval napríklad G. N. Leech v roku 1983 a zahŕňajú princíp postupnosti, prehľadnosti, *ekonomie* a expresivity.)

Výklad zvolenej tematiky je rozdelený do piatich kapitol, za ktorými nasleduje zhrnutie a závery. V úvodnej (prvej) kapitole sa odôvodňuje motivácia, ciele práce, zvolené metódy a výber ilustračného materiálu. Metodologickým východiskom v najvšeobecnejšej rovine je popri dichotómii *langue/parole* rozlišovanie opozície hĺbkovej a povrchovej štruktúry, a to v intenciách českej lingvistickej tradície. Práca sa, slovami autorky, zameriava „na ty extrémní prípady, ktoré se dají vyjádřit jako

0 : 1, popř. 0 : X, což znamená, že ne všechny prvky výpovědi mají svou reprezentaci v povrchové struktuře“ (s. 11).

Jedným z cieľov monografie je aj akoby „inventarizácia“ toho, čo bolo o danej problematike napísané. Druhá kapitola s názvom *Komentovaný přehled vybraných názorů na podstatu elipsy a příbuzných jevů* prezentuje (pre autorku typickú) mimoriadne detailnú analýzu názorov, prístupov, smerov primárne zameraných na predmet výskumu. Kapitola má viac ako päťdesiat strán (s. 21 – 74) a prevahu v nej majú práce zo 70. – 80. rokov, ktoré sú miestami doplnené novšími. Je to dané ich aktuálnosťou v čase, keď vznikala východisková podoba monografie (text dizertačnej práce, porov. s. 9). Uvádza sa 130 mien z európskej lingvistiky, zo slovenských autorov sa spomína E. Bajzíkova, J. Mistrík, E. Pauliny, J. Oravec, J. Orlovský, J. Ružička a J. Svetlík.

V tretej kapitole s názvom *Pokus o vytvoření vlastní koncepce na základě analýzy prostudovaných teorií a práce s excerpovaným jazykovým materiálom* sa podľa nášho názoru prezentuje podmienený pohľad na predmet výskumu, ktorý je daný jednak systémovým a jednak komunikačno-semiotickým prístupom: systémovým, založeným na vetnočlenskom princípe vetnej stavby; komunikačným, lebo sa pohybuje vo sfére výpovede, rečového aktu, dialógu, komunikátu, komunikačnej situácie; semiotickým, keďže uchopuje jazykový znak (porov. autorskú schému vety ako zložitého znaku na s. 85, ktorá ukazuje škálu asymetrií vzťahov v povrchovej a hĺbkovej štruktúre z aspektu realizácie syntaktickej nuly, prázdneho znaku, synonymie, homonymie, elipsy), pracuje s pojmami denotát, denotátor, designátor. Kľúčovou je dichotómia *veta – výpoveď* (porov. eliptická, kusá, neúplná, skrátená veta; eliptická, neveta výpoveď) a pozícia vetného člena (nevyjadrený, obligatórny, potenciálny vetný člen). V prezentovanej metodologickej intencii sa spája heuristický prístup, ktorý vychádza z podstaty skúmaného javu (*sui generis*) a postupného odhaľovania jeho ďalších javových súvislostí. Autorka predostrela lingvisticky hodnotiaci pohľad na problematiku **elipsy**, ktorú definuje takto: „Elipsa je kontextovú, resp. situačne podmienená nerealizácia konstitutívneho člena

vetného vzorce“ (s. 82). Nazeranie na elipsu z rôznych uhlov pohľadu rezultuje v jej bohatom a mnohovrstevnom rozlíšení. Rozlišuje sa elipsa (v abecednom poradí): *anaforická, anticipačná, endofoforická, epexegetická (postupná), frazeologická, funkčná, kontextová, koordinačná, logická, myšlienková, pragmatická, sémantická, situačná, zmyslová, symetrická a textová*. Kľúčové miesto v monografii má fenomén syntaktickej **nuly**, porov.: „Nulový tvar syntaktického znaku je systémovú podmienená nulová realizácia jedného alebo viacerých členov morfologicko-syntaktického paradigmatu s jednoznačnou sémantickou definovateľnosťou“ (s. 83), pričom s konceptom nuly sa spája *hĺbková nula, jazyková nula, syntaktická nula; nulová forma, nulová lexéma, nulová realizácia, nulová spona, nulový člen, nulový element, nulový obsah, nulový tvar spony, nulový tvar syntaktického znaku, nulový znak*. Autorka dôsledne odlišuje elipsu od nulového tvaru znaku a tzv. prázdneho znaku (ktorého symbolickým vyjadrením je vzťah 1 : 0, resp. X : 0; porov. s. 11). Vzťahy medzi nimi sú natoľko zložité, že pri akomkoľvek hlbokom výskume možno v nich stále nachádzať nové dimenzie.

Štvrtá kapitola (s. 93 – 118) je venovaná komparatívne opisovaniu elipsy v ruštine. Analýzy sú v nej premyslené a spoľahlivo dokumentované. Ilustračný materiál ukázal, že ruština v porovnaní s češtinou

a slovenčinou využíva eliptickosť vo väčšej miere. Autorka to zdôvodňuje výraznejším sklonom ruštiny k nominálnosti, emocionálnosti, ako aj existenciou tzv. nulového tvaru spony (nulový tvar slovesa *byť*). Jednotlivé príklady vykazujú aj rozličnú mieru detailnosti. Prednosťou recenzovanej publikácie je skĺbenie teoretických výkladov s aplikačnými, ilustrujúcimi časťami. Na fungovanie neexplicitne vyjadrenej jednotky má podľa autorky vplyv: (1) typ textu (monologický alebo dialogický); (2) štruktúra výpovedných jednotiek a počet propozícií (monopropozíčné, polypropozíčné konštrukcie); (3) postavenie neexplicitne vyjadrenej jednotky v gramatickom vetnom vzorci (v ľavovalenčnej, pravovalenčnej pozícii, v pozícii predikátora, resp. časti zloženého predikátora; v terminológii F. Daneša); (4) príčiny umožňujúce neexplicitné vyjadrenie (jazykové, mimojazykové, pragmatické).

V piatej kapitole sa naznačujú možnosti a potreby sociolingvistického a pragmatického prístupu k problematike výrazovej neexplicitnosti, ktoré otvárajú celý rad dosiaľ nedoriešených otázok. Nazdávame sa, že práve prehĺbenie pragmatickej línie umožní (slovami Juraja Dolníka) uchopenie komunikačnej interakcie ako akomodačno-asimilačného procesu a explanáciu z pozícií recipienta. Do nových súvislostí sa tak do-

stane problematika zrozumiteľnosti, ktorú ovplyvňuje identifikovateľnosť obsahu jazykových štruktúr, adekvátne inferencia a integrovateľnosť do znalostných štruktúr; prirodzená interpretácia, ktorá je súčasťou jazykového správania; zmysel ako zvrstvený jav zasahujúci totalitu človeka a i.

Monografická práca Z. Vychodilovej prezentuje syntetické uvažovanie o fenoméne implicitnosti. Je napísaná zo zjednoteného teoretického stanoviska, ktoré nadväzuje na výsledky najmä českej a ruskej jazykovednej tradície. Dôsledne sleduje lingvistický status elipsy, ktorú uchopuje cez jej okolie vo vete, výpovedi, komunikáte. Ide o príklad korektnej práce s jazykovým materiálom, jeho deskripcie a explanácie v intenciách zvolenej metodológie. Napriek niektorým kompozičným nevyváženostiam v zhustenej a obsažnej podobe pertraktuje vybrané teoretické otázky výskumu a opisu jazyka a komunikácie. Z. Vychodilová sa tak pridáva k autorom, ktorí popri štruktúrno-porovnávacom výskume požadujú zintenzívniť funkčno-porovnávací a komunikačný prístup, ktorý je pre olomouckú rusistiku príznačný. Naznačuje novú paradigmu späť s ďalším prehľbovaním najmä textového smerovania.

*Jana Sokolová*



Ляшук, В. М.: *Развіццё лексічных сродкаў беларускай паэзіі: манаграфія*. Мінск: ДУ БелІСА, 2012. 304 с. ISBN 978-985-6874-21-1.

### Пра лексіку беларускай паэзіі

Літаратура з'яўляецца адным з асноўных, самых даступных і ўніверсальных відаў мастацтва і выконвае ў ім вядучую ролю. Мастацтва слова першым адгукаецца на ўсе праявы часу, на новае і перадавое, што ўзнікае ў жыцці чалавека, адлюстроўваючы яго сваімі вобразнымі сродкамі. І словы-вобразы, як правіла, не столькі перадаюць з'явы і прадметы рэчаіснасці праз пачуцці і ўспрыманне пісьменніка, колькі выклікаюць у чытача пэўную рэакцыю на іх, своеасаблівыя асацыяцыі, якія характарызуюцца як індывідуальнасцю, адвольнасцю, так і агульнасцю і традыцыйнасцю. Пошук гэтага агульнага і разам з тым адметнага, уласцівага менавіта беларусам, і ацэнка яго з лінгвістычнага погляду з'яўляецца, на нашу думку, асноўнай задачай, якую вырашае аўтар рэцэнзуемай манаграфіі.

Як вядома, літаратура ўзнікла на глебе вуснай народнай творчасці, якая, па сутнасці, і ёсць крыніца паэзіі. Адпаведна і выбар матэрыялу, на якім грунтуецца асноўныя палажэнні даследавання, з'яўляецца невыпадковым.

Мова паэтычных твораў здаўна цікавіла беларускіх лінгвістаў, паколькі яна адлюстроўвае не толькі ўнутраны стан чалавека, але і яго светаўспрыманне, адносіны да рэчаіснасці, ацэнку падзей і сітуацый. У паэзіі паказваюцца індывідуальныя перажыванні, якія набываюць грамадскія маштабы: пэўны клопат і трывога за сябе, сваю сям'ю перарастае ў клопат і трывогу за Радзіму, навакольнае асяроддзе, грамадства, у якім чалавек жыве ў канкрэтны гістарычны перыяд часу, што апісваецца адпаведнымі лексічнымі сродкамі выразнасці. Безумоўна, аўтары пры гэтым выкарыстоўваюць разнастайныя вобразна-выяўленчыя здабыткі,

каб перадаць свае эмоцыі, пэўным чынам уздзеінічаць на чытача, дапамагчы яму разабрацца ў некаторых асабістых і агульных пытаннях, што хвалююць чалавека спрад-веку. Гэта не толькі метафары, эпітэты, анафары, словы-сімвалы і іншыя тропы, якія бяруць свой пачатак з вусна-паэтычнай творчасці, з’яўляюцца традыцыйнымі ў перадачы асаблівасці культуры, некаторых народных абрадаў, спецыфікі менталітэту і пад., але і звычайная агульнаўжывальная лексіка, якая паэтызуецца ў вершаваным творы, мяняе свае канатацыі, а часам нават набывае новыя семантычныя адценні. Менавіта трансфармацыі агульнаўжывальнай лексікі у беларускай паэзіі пад уплывам цэлага шэрагу фактараў цікавяць В. М. Ляшук.

Кожны песеннік – асоба, якая мае ўласны стыль, улюбёную тэматыку, пастаянна знаходзіцца ў творчым пошуку, адпаведна ўжывае індывідуальна-аўтарскі набор лексікі, якая з’яўляецца адбіткам сацыяльнага становішча аўтара, узроўню яго адукацыі, прафесійнай прыналежнасці, а таксама носіць прыметы тэрытарыяльнай адпаведнасці, асабістай зацікаўленасці некаторымі з’явамі, падзеямі і г. д. – мае ўласны стыль. Чалавек, прырода, грамадства, мінулае і будучае – вось асноўная праблема-тыка, якая хвалявала і дагэтуль цікавіць разнастайныя пакаленні мастакоў слова. Дзякуючы ім і многія аказіяналізмы ўваходзя-

ць у актыўны слоўнікавы запас, што занатоўваецца лексікографамі ў слоўніках розных тыпаў і гадоў выдання. Безумоўна, нават агульнаўжывальнае слова ў пэўным паэтычным кантэксце можа паказаць нечаканы запамінальны вобраз, стаць цікавым моўным увасабленнем, якое перадае “змены ў побыце, экалогіі, інтэлектуальным жыцці грамадства” (с. 7), а пры пэўнай частотнасці і ўмовах ужывання можа стаць сімвалам ці нават увайсці ў народную культурную скарбонку так званай “традыцыйнай лексікі”.

Вядома, што ўсе словы беларускай мовы групуюцца ў два вялікія пласты – агульнаўжывальную лексіку і лексіку абмежаванага выкарыстання. Гэтыя тэрміны з’яўляюцца найбольш прадуктыўнымі ў лінгвістычнай літаратуры для называння лексікі паводле сферы яе ўжывання. Так, вядома, што агульнаўжывальныя моўныя адзінкі знаёмыя ўсім носбітам мовы, знаходзяцца ў актыўным лексічным запасе. Іх выкарыстанне не абмяжоўваецца ні тэрытарыяльна, ні сацыяльна – незалежна ад месца жыхарства чалавека, прафесіі і ладу жыцця. Без гэтых слоў немагчыма само існаванне мовы і зносін на ёй. Яны з’яўляюцца своеасаблівым ядром лексічнай сістэмы любой мовы. Акрамя таго, агульнаўжывальная лексіка мае пэўную, устойлівую семантыку, якая звычайна не мяняецца



на працягу доўгага перыяду часу. Разам з тым гэтая група слоў можа папаўняцца лексікай абмежаванага выкарыстання – як правіла, дыялектнай і спецыяльнай, што пацвярджаецца часам нястомнай пошукавай працай беларускіх паэтаў і празаікаў, якія стаялі ля вытокаў развіцця новай беларускай літаратурнай мовы і ўдумліва выкарыстоўвалі, канструявалі і спрабавалі кожнае слова ў сваёй творчасці. Нездарма ў манаграфіі В. М. Ляшук прааналізаваныя ў першую чаргу працы класікаў беларускай літаратуры: Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча і некаторых іншых мастакоў слова.

“Асваенне паэзіяй дыялектызмаў, аўтарская словатворчасць, выкарыстанне слоў з грамадска-палітычнай, прафесійнай, тэрміналагічнай лексікі, ажыўленне архаізмаў, пашырэнне запазычанняў” – вось на чым спыняецца і што спрабуе прасачыць у сваім даследаванні аўтарка (с. 8). Акрамя таго, яна слушна адзначае, што на выбар пэўных лексічных сродкаў беларускай паэзіі моцна паўплывалі нацыянальныя вобразна-стылістычныя традыцыі і агульнамоўныя заканамернасці фарміравання і функцыянавання літаратурнай лексікі ўвогуле. Менавіта сродкі паэтычнай мовы, як піша В. М. Ляшук, дазваляюць сканструяваць пэўную мадэль свету, характэрную для беларусаў, і тым самым дапамагаюць вызначыць нацыянальную спецыфіку іх светабачання.

Як правіла, у навуковай літаратуры тэрмін *традыцыйная лексіка* часцей за ўсё ўжываецца ў значэнні ‘абрадавая’ – у фалькларыстыцы і культуралогіі. Адпаведна прадуктыўнымі з’яўляюцца, напрыклад, такія спалучэнні слоў, як *традыцыйная культура, традыцыйныя стравы, традыцыйныя лялькі, традыцыйная вобразна-фальклорная лексіка* і некат. інш. Таму, калі аўтарка ў сваёй манаграфіі хацела надаць гэтаму тэрміну іншы, чыста лінгвістычны сэнс, варта было б гэта спецыяльна падкрэсліць і высветліць, каб выключыць іншыя інтэрпрэтацыі. Тым больш, што абраны для даследавання матэрыял з’яўляецца арганічнай часткай літаратуры, а праз яе звязаны і з фальклорам (і нават шырэй – з нацыянальным светаўспрыманням беларуса). Натуральна, што пэўная частка слоў, шырока ўжывальных у народных песнях, баладах, казках, паданнях, галашэннях, замовах, парэміях, анекдотах, жартах і г. д., трапляла ў літаратурныя творы і працягвае выкарыстоўвацца не толькі ў сучаснай паэзіі, але і ў іншых відах мастацтва, паколькі традыцыйная народная спадчына – невычэрпная крыніца ведаў і мудрасці, якая будзе заўсёды жывіць розумы і сэрцы нашчадкаў. Акрамя таго, перадаючыся з вуснаў у вусны, з пакалення ў пакаленне, кожны радочак адшліфоўваўся і становіўся класічным узорам, паводле якога ствараліся новыя творы.



Таму калі мы нават назавём аналіз паэтычнага твора лінгвістычным, ён будзе няпоўным і недакладным без уліку літаратурна-жанравых асаблівасцей твора, спецыфікі індывідуальна-аўтарскага стылю і тыповых рысаў нацыянальнай ментальнасці. З гэтага выплывае непазбежна комплексны, інтэрдысцыплінарны падыход да аналізу паэтычнага тэксту, які, з'яўляючыся мастацкім творам, выконвае эстэтычную функцыю.

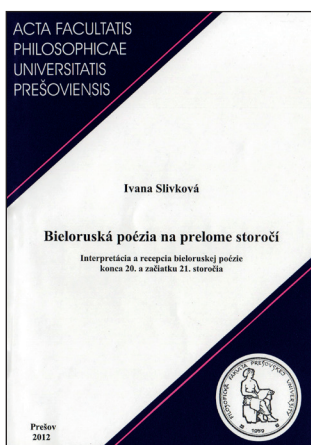
Кожны гістарычны перыяд жыцця грамадства мае свае ключавыя словы, якія часцей за ўсё ўжываюцца ў маўленні людзей, бо адлюстроўваюць іх погляды, хваляванні, ідэалы, памкненні і пад. Праведзены частотны аналіз лексікі паэтычных твораў, розных па часе напісання, дазволіў даследчыцы выявіць пэўны аб'ём найбольш часта ўжывальных моўных адзінак, прасачыць некаторыя змены і зрухі ў іх семантыцы і (што найбольш, на нашу думку, важна) вызначыць і паказаць асаблівасці і адметнасці беларускага паэтычнага маўлення. Цікавым з'яўляецца вывад, што ў сучаснай беларускай паэзіі працягваюцца традыцыі ва ўжыванні пэўных вобразных сродкаў мовы, якія сталі сімвалічнымі яшчэ ў дакастрычніцкі і паслякастрычніцкі перыяды жыцця нашага грамадства. Безумоўна, некаторыя з іх адышлі ў пасіўны слоўнікавы запас, аднак з пункту погляду на ўласці лексіка-семантычных груп

іх тэматыка істотна не мяняецца, хоць і назіраюцца некаторыя інавацыі, пра што сведчыць такі падраздзел працы, як "Інавацыйныя працэсы ў сістэме традыцыйных лексічных сродкаў" (с. 167 – 187).

Найбольш з'яўляюцца, як нам здаецца, можна назваць частку манаграфіі "Словы-вобразы як выяўленчы сродак беларускай паэзіі", у якой вельмі ўдала апісваюцца вобразы *песні* і *зямлі*, вызначаюцца нават пэўныя асацыяцыі беларусаў на дадзеныя лексемы, што "з'яўляецца праявай нацыянальнай ментальнасці" (с. 166). Хацелася б, каб В. М. Ляшук не спынялася на дасягнутым, а працягвала свае разважання ў гэтым накірунку і над іншымі вылучанымі словамі-сімваламі.

Такім чынам, манаграфія В. М. Ляшук з'яўляецца арыгінальным лінгвістычным даследаваннем, у якім актуалізаваны інтэрдысцыплінарныя сувязі з гуманітарнымі дысцыплінамі, якія вывучаюць эстэтычнае выкарыстанне мовы (літаратуразнаўствам, культуралогіяй і фалькларыстыкай). Акрамя таго, робіцца спроба зазірнуць у некаторыя праблемы кагнітывістыкі. Гэтае выданне можа быць рэкамендавана для прачытання і вывучэння студэнтам і выкладчыкам гуманітарных дысцыплін, пісьменнікам, якія толькі пачынаюць сваю творчую дзейнасць, а таксама ўсім аматарам прыгожага слова.

*Алена Калечыц, Наталля Корына*



SLIVKOVÁ, I.: *Bieloruská poézia na prelome storočí*. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012. 144 s. ISBN 978-80-555-0652-4.

*Bieloruská poézia na prelome storočí* Ivany Slivkovej je súborom textov, ktoré autorka v minulosti publikovala na danú tému, a recenzovaná kniha je tak snahou o vytvorenie kompendia zachytávajúceho rôzne špecifiká a nuansy modernej bieloruskej poézie. Jedenásť štúdií má väčšinou interpretačný ráz, pričom autorka hneď v úvode zdôrazňuje potrebu oslobodenia recepcie od politizovania (s. 7) a za hlavný cieľ si kladie „sprostredkovať dotyk s bieloruskou poéziou“ (s. 8).

Jednotlivé štúdie sa tematicky venujú napríklad slovensko-bieloruským literárnym vzťahom, Jevfrasinnii Polackej, fenoménu „tutejšyja“ v bieloruskej literatúre, obrazu Bieloruska v súčasnej bieloruskej poézii, ženskosti a iným témam. Je dôležité upriamiť pozornosť na komplexné zachytenie povahy bieloruskej poézie. Z hľadiska tvorby jednotlivých básnikov Ivana Slivková zdôrazňuje

najmä osobnosti ako Nil Hilevič, Ryhor Baradulin, Ales Razanav, Leanid Draňko-Majsiuk a Andrej Chadanovič.

Po základnej charakteristike slovensko-bieloruských literárnych vzťahov sa autorka venuje osobnosti Jevfrasinnie Polackej, patrónke Bieloruska, a jej obrazu v histórii bieloruskej literatúry. Autorka popisuje život a zásadný vplyv spirituality Polackej na bieloruskú kultúru. Jevfrasinnia Polacka – ako pretrvávajúca inšpirácia pre básnikov – je jedným z dôkazov toho, že duchovno zohráva v bieloruskej poézii stále dôležitú úlohu.

Pojem „tutejšyja“ sa v bieloruskej literatúre po prvýkrát objavuje u Janka Kupala (1882 – 1942) a označuje v prvom rade spätosť so zemou ako esenciálnou súčasťou identity jednotlivca. Slivková v tejto časti popisuje najmä tvorbu bieloruského básnika Nila Hileviča.

V štúdiu venovanej všeobecným charakteristikám modernej bieloruskej poézie vymenúva jej základné tematické okruhy, ktorými sú filozoficko-meditatívna lyrika, biblicko-filozofická tematika, poézia s publicisticko-spoločenskými prvkami, história, lúboštná lyrika, rodná zem a múdrosť prírody, Černobyľ, mesto verzus dedina a poézia čerpajúca námety z prostredia pracovných táborov. Následne autorka zvyrazňuje štyri piliere súčasnej básnickej tvorby. Tu ale treba podotknúť, že do štyroch pilierov zahŕňa veľkú väčšinu predchádzajúcich tematických okruhov, čím sa hlbší význam opakovanej charakteristiky stráca. Bližšie v tejto štúdiu uvažuje opäť o Nilovi Hilevičovi, ďalej sa venuje Ryhorovi Baradulinovi, Alesovi Razanavovi a Leonidovi Draňko-Majsiukovi.

V ďalších častiach publikácie Slivková píše o sebaidentifikácii a hľadani identity v súčasných východoslovenských literatúrach (s akcentom na ukrajinský kontext), o filozofii, politike, tradícii a inovácii v súčasnej bieloruskej poézii, pričom sa vracia k už spomenutým spisovateľom (Hilevič, Baradulin, Razanov, Draňko-Majsiuk).

V nasledujúcej štúdiu sa Ivana Slivková zaoberá obraznosťou v poézii Leanida Draňko-Majsiuka, špecificky tematikou lásky a intimity, no aj obraznosťou vody a kvetov.

V časti *Apelativnosť verzus provokácia v súčasnej bieloruskej poézii* sa autorka opäť vracia k poetike Nila

Hileviča a analyzuje jeho symboliku bolesti, strachu a obáv o vlasť: „Čím viac sme osudom a životom skúšaní, tým viac znesieme, aj preto si básnik vyberá ako základný symbol bolesť a ako tvorivý postup jej prekonávanie“ (s. 97).

Ženskosť v súčasnej bieloruskej poézii je recipovaná z perspektívy štyroch typov hrdinky: intímnej, feministickej, duchovnej a intelektuálnej. Slivková uvádza, že jedna zo základných črt súčasnej ženskej lyriky je prelínanie intímnosti a lúboštnej poézie s ideami emancipácie a ženskej sily. Medzi autorky, ktoré Slivková spomína, patria Raisa Baraviková, Chircina Laľkova, Ľudka Silňovova a Javhenija Janiščycova. Slivková priznáva, že nie je možné generalizovať a špecificky určiť, čo je typické pre tvorbu súčasných autoriek, ako aj to, že bádanie v oblasti genderových štúdií je iba na počiatku.

V posledných dvoch častiach publikácie sa autorka venuje typologickej konfrontácii tvorby Alesa Razanava a Leanida Draňko-Majsiuka, konkrétne motívu cesty a tuláctva a konfrontačnému pohľadu na tvorbu Ryhora Baradulina a Nila Hileviča (esencia bieloruskosti, národa, rodného kraja, prírody, Boha).

Za istý nedostatok publikácie považujeme opakovanie informácií, ktoré pôsobí rušivo (porovnaj napr. s. 40 – 41 a s. 82, prípadne informáciu o filozofovaní ako jednej z tradičných črt Bielorusov: v poznámke pod čiarou na s. 48 a následne na

s. 56). Čitateľ veľmi ľahko vypozeruje, že ide o parciálne štúdie, ktorých prepojenie by si zaslúžilo väčšiu precíznosť. Užitočné by bolo záverečné zhrnutie, sumarizácia charakteristík, na ktorú by bolo možné nadviazať v ďalšom bádani a štúdiu.

Jednoznačne silnou stránkou publikácie sú interpretačné pohľady na poetiku, ktorá je nášmu – slovenskému – literárnemu kontextu a čitateľovi poézie veľmi blízka.

Ak by poézia prinášala definitívne odpovede, nebola by poéziou. Jej cieľom je skôr vyvolať otázky, naznačiť možné východiská a smerovania ľudského bytia. Táto charakteristika

robí pútavé písanie o poézii značne náročným a publikácia Ivany Slivkovej nepriamo poukazuje aj na to. Recepcia poézie je síce primárne intímny zážitkom, no písanie o nej je nevyhnutné, aby čitatelia našli k spomenutým autentickým zážitkom svoju cestu. Zaujímavé a inšpirujúce písanie o literatúre je tak zásadným predpokladom rozvíjania povedomia o hodnotných textoch a autoroch, ktorých poznanie je súčasťou všeobecného kultúrneho rozhladu i osobnostného rozvoja jednotlivca.

*Mária Kiššová*

## MENNÝ REGISTER / INDEX OF NAMES

- Abrahamowicz, D. 57, 71  
 Anderson, C. L. 32, 42  
 Anderson, M. C. 31, 32, 33, 40, 42, 43  
 Andrejev, L. 33, 34, 35, 38, 39  
 Antokolskij, M. M. 37  
 Antošová, M. 56 – 72  
 Arcybašev, M. P. 34  
 Aruťunova, N. D. 15  
 Azarova, N. M. 47, 48, 49, 53, 54
- Bajžíková, E. 79  
 Bally, Ch. 13, 15  
 Baradulin, R. 86, 87  
 Baravikovova, R. 87  
 Bartek, H. 18 – 29  
 Bergson, H. 32, 35, 50  
 Berkman, A. 42  
 Bernolák, A. 19, 25, 26, 27, 28, 29  
 Blagoj, D. D. 77  
 Blok, A. 12  
 Bogdanovič, M. 84  
 Bombíková, P. 56, 58, 71  
 Borzova, E. P. 48, 49, 54  
 Brandes, G. 36  
 Breškovskaja, E. 42  
 Bryant, L. 40, 43  
 Bucko, V. 25  
 Bulgakov, S. N. 53  
 Bynner, W. 38, 43
- Cézanne, P. 37  
 Czambel, S. 19  
 Currey, M. 32, 43  
 Cyril (Konštantín) 22, 23
- Čapek, J. 57  
 Čechov, A. P. 33, 34, 39  
 Černý, V. 57, 58, 61, 62, 71  
 Červeň, J. 57  
 Česnokov, V. P. 9, 10, 17
- Daneš, F. 81  
 Dianova, T. V. 77  
 Divjak, D. 13, 17  
 Dolník, J. 20, 29, 81  
 Dostojevský, F. M. 33 – 39, 42, 53, 54, 57, 70  
 Draňko-Majsiuk, L. 86, 87  
 Duličenko, A. D. 18, 29  
 Ďurovič, Ľ. 19, 29
- Eastman, M. 39  
 Eddy, A. J. 36
- Felix, J. 70  
 Ficke, A. D. 32, 43  
 Fiodorov, I. 74, 75, 78  
 Foster, G. B. 33, 43  
 Frank, F. K. 39, 43
- Gabirol, I. 37, 38, 43  
 Garnett, E. 35  
 Garšin, V. M. 35  
 Gajdenko, P. P. 49, 54  
 Gil'arovskij, V. 6  
 Gogoľ, N. V. 35, 39  
 Goldman, E. 39, 40, 41, 42, 43  
 Golev, N. D. 46, 47, 54  
 Golovin, B. N. 13, 16  
 Gončarov, I. A. 35  
 Gorkij, M. 34, 35  
 Graham, S. 42  
 Granovskaja, L. M. 51, 53, 54  
 Gries, S. Th. 13, 17
- Hamada, M. 56, 66, 71  
 Hattala, M. 19  
 Heapová, J. 31  
 Hecht, B. 43  
 Heidegger, M. 50  
 Hilevič, N. 86, 87

Horálek, K. 22, 23  
Huneker, J. 39

Chadanovič, A. 86  
Choružij, S. S. 51, 55

Ibsen, H. 39  
Ivancova, E. V. 46, 55

Jagić, V. 24  
Jančovič, I. 56, 59, 71, 72  
Janda, L. A. 14, 17  
Janiščycova, J. 87  
Janke, W. 62, 71, 72  
Jarintzoff, N. 42  
Jevpak, V. V. 45 – 55  
Jóna, E. 18  
Jones, L. 32, 35, 43  
Josselson, G. G. 13, 16  
Joyce, J. 32

Karamzin, N. M. 54  
Karaulov, Ju. N. 11, 16  
Karsavin, L. L. 45, 47 – 56  
Kalechyts, A. 82 – 85  
Kaun, A. S. 34, 35, 41, 43  
Kempgen, S. 13, 17  
Key, E. 32  
Kiczko, L. 61, 72  
Kiššová, M. 31 – 44, 86 – 88  
Kitajgorodskaja, M. V. 12  
Knopf, A. A. 35  
Konštantín (Cyril) 22, 23  
Kolas, J. 84  
Kopčok, A. 70, 72  
Korina, N. 82 – 85  
Kotvan, I. 27  
Kovtun, A. 52, 55  
Kropotkin, P. A. 35  
Kubica, A. 28, 29  
Kukuškina, M. V. 37  
Kupala, J. 84, 86  
Kuskov, V. V. 74, 77  
Kuzmin, M. 35

Ľalkova, Ch. 87  
Lapteva, O. A. 14, 16  
Lazar, M. 36, 37, 43  
Ledényi-Ladziansky, J. 19  
Leech, G. N. 79  
Lermontov, M. Ju. 35, 37, 39  
Leško, V. 57, 71, 72  
Levien, S. 42, 43  
Liashuk, V. 82, 83, 84, 85  
Lichačov, D. S. 74, 77  
Lomonosov, M. V. 29  
Losskij, N. O. 45, 47 – 55  
Lyashevskaya, O. 14, 17

Marcel, G. 56, 58, 59, 62 – 72  
Marinetti, T. 32, 43  
Matejko, L. 47, 55  
Matyušová, Z. 73 – 78  
Melčuk, I. A. 14  
Melich, J. 51, 55  
Metod 23  
Miloslavskij, I. G. 7, 16  
Mistrík, J. 79  
Morton, M. 38  
Mounier, E. 45  
Mstislavec, P. T. 74

Neroznak, V. P. 45  
Nietzsche, F. 33, 35, 36, 37, 39, 41  
Nikolajev, A. E. 49, 55  
Nikolov, P. O. 50, 55  
Norman, B. Ju. 5 – 17  
Novák, Ľ. 20, 27, 28

Ondrejovič, S. 18 – 30  
Oravec, J. 79  
Orlov, A. S. 74  
Orlovský, J. 79  
Ovčarov, A. A. 48, 55

Paderewski, I. J. 32  
Palkovič, J. 29  
Pauliny, E. 21, 27, 30, 79  
Peciar, Š. 27

- Petrík, V. 56, 72  
Pičugina, O. V. 54  
Polacka, Je. 86  
Popov, A. S. 12, 16  
Pound, E. 31  
Powys, J. C. 37, 39, 44  
Prídavok, P. 19  
Prušková, Z. 56, 58, 72  
Przybyszewski, S. 36  
Puškin, A. S. 35, 39, 53
- Rapant, D. 26, 28  
Razanav, A. 86, 87  
Renouvier, Ch. B. 45  
Roosevelt, F. D. 41  
Ropšin, V. 35  
Rosenbaum, K. 57, 72  
Rozanova, N. N. 12  
Rudnay, A. 26  
Ruseckij, V. F. 6, 16  
Ružička, J. 79  
Rybakov, B. A. 78
- Sacharnyj, L. V. 11, 16  
Saphier, W. 40, 44  
Sapir, E. 7, 16  
Sartre, J.-P. 56 – 72  
Sawyer, H. A. 35  
Shanks, B. E. 32, 44  
Seltzer, T. 38  
Sil'novova, L. 87  
Siroтина, O. B. 12, 14, 16  
Sivák, J. 28  
Slivková, I. 86, 87, 88  
Sokolová, J. 79 – 81  
Soloviov, V. 49  
Sologub, F. 35  
Soule, G. 32, 33, 36, 38, 40, 44  
Stanislav, J. 28  
Stolypin, P. 41  
Störig, H. J. 70, 72  
Struve, P. B. 49  
Svetlík, J. 79
- Swawite, M. 39  
Szukalski, S. 39
- Števček, J. 56, 72  
Štolbová, E. 57, 72  
Štúr, L. 19  
Švagrovský, Š. 18  
Švedova, N. Ju. 12
- Tatarka, D. 56 – 72  
Těšitelová, M. 13, 17  
Thákur, R. 32  
Tichomirov, M. N. 78  
Tolstoj, L. N. 35, 38, 39, 53  
Tolstoy, I. 35, 39  
Turgenev, I. S. 34, 35, 39  
Tvrdý, P. 19
- Valgina, N. S. 10, 15  
Varnhagen, R. 32  
Vaross, M. 70  
Vasilieva, A. N. 9, 16  
Veller, M. 6  
Verlaine, P. 35  
Vlašín, Š. 58, 71, 72  
Vološin, M. 38, 44  
Vychodilová, Z. 79, 81
- West, R. 39  
Wierzbicka, A. 7, 17  
Wilde, O. 35, 36  
Wilson, A. 41  
Whitman, W. 39
- Yeats, W. B. 39
- Zemskaja, E. A. 12  
Zola, E. 61  
Zolotova, G. A. 10, 16  
Zosimovskij, Z. V. 54  
Zvegincev, V. A. 11
- Žigo, P. 18



## AUTORI ČÍSLA

doc. PhDr. Marcela Antošová, CSc.  
Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty  
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (SR)  
mantosova@ukf.sk

doc. Jevgenij Vladimirovič Jevpak, CSc.  
Katedra všeobecnej jazykovedy a slovanských jazykov  
Kemerovskej štátnej univerzity v Kemerove (RF)  
jevpak.72@mail.ru

doc. Alena Kalechyts, CSc.  
Katedra rusistiky Filozofickej fakulty  
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (SR)  
akalechyts@ukf.sk

PhDr. Mária Kiššová, PhD.  
Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty  
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (SR)  
mkissova@ukf.sk

doc. PhDr. Natália Korina, CSc.  
Katedra rusistiky Filozofickej fakulty  
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (SR)  
nkorina@ukf.sk

doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D.  
Katedra ruského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty  
Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach (ČR)  
matyus@pf.jcu.cz

prof. Boris Justinovič Norman, DrSc.  
Katedra teoretickej a slovanskej jazykovedy Filologickej fakulty  
Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku (Bielorusko)  
boris.norman@gmail.com

prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.  
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave (SR)  
slavoo@juls.savba.sk

prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.  
Katedra rusistiky Filozofickej fakulty  
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (SR)  
jsokolova@ukf.sk